Право на имя

Игорь Брусникин



Игорь Брусникин

Право на имя

«Автор»
2026

Брусникин И.

Право на имя / И. Брусникин — «Автор», 2026

Лицей Святой Агаты держится на правилах, которые никто не объяснял вслух: не ходи в северное крыло, не спрашивай про архив, не замечай прочерков в списках. Эдриан Коул — второй стипендиат за тридцать лет — прибывает сюда с единственным капиталом: умением видеть разницу между ошибкой и ложью. Здесь договариваются давно. Карточка с именем, которого нет ни в одном журнале. Профессор, умерший от сердечного приступа за запертой дверью — но свет в его кабинете горел ещё час после смерти. Тайные собрания под часовней, где студентов учат доказывать не правду, а назначенную версию. И где-то в глубине архива — имя, которое стёрли дважды: сначала из документов, потом из памяти.Чем глубже Эдриан распутывает нить и чем ближе он к тому, что произошло на самом деле, тем очевиднее: его появление здесь — не случайность. Его ждали. Вопрос только в том, кто именно и зачем.

© Брусникин И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Дом без лица 5
Часть первая. Лицей Святой Агаты 9
Глава 2. Правила для новых 12
Глава 3. Кабинет без часов 15
Глава 4. Карточка 18
Глава 5. Соседи 21
Глава 6. Закрытая дверь 24
Глава 7. Профессор Вельский 27
Глава 8. Запертый кабинет 30
Глава 9. Первый свидетель 33
Глава 10. Не несчастный случай 36
Часть вторая. Ночной диспут 39
Конец ознакомительного фрагмента. 42

Игорь Брусникин
Право на имя

Пролог. Дом без лица

Портрет основателя писали не с человека — с описания. Художник приехал в марте семьдесят восьмого, поселился в флигеле и первые две недели писал не краски, а слова: ему диктовали. Осанку диктовал управляющий, цвет глаз — экономка, линию рта — никто: линию рта изъяли из описания на третьем сеансе, и художник попросил показать лицо хотя бы на минуту.

Ему ответили, что лицо у портрета есть — то, которое он пишет. Человек, с которого писали, не позировал: человек, с которого писали, умер за двадцать лет до этого, и описывать его мог только тот, кто его помнил. А помнить его имели право не все.

Художник написал портрет за одиннадцать месяцев. Работу приняли молча — по тому, как принял её тот, кто заказывал. Иероним Ремер пришёл во флигель один, без сопровождающих, простоял перед холстом семь минут — художник считал про себя, потому что молчать при нём было легче, чем говорить, — и сказал единственное:

— Рот не тот.

Рот переписали трижды. На четвёртый раз Иероним сказал: «Оставьте». И это «оставьте» художник запомнил на всю жизнь — не потому, что понял, а потому, что не понял: в нём не было уступки. В нём было решение прекратить спор о человеке, которого никто не видел.

Портрет повесили над лестницей главного корпуса — напротив ниши, где по четвергам заседал диспутный зал. Табличку под ним сделали пустой: место для имени оставили, имя не вписали. Завхоз спросил у управляющего, чем вписывать. Управляющий ответил: «Когда будет чем». Ответ продержался дольше, чем завхоз.

Дом без лица жил по правилам, которые не повторяли дважды: правила не повторяли, потому что повторяющее правило становится вопросом, а вопросы в этом доме не поощрялись — не запрещались, что страшнее. Запрет обходят. Отсутствие поощрения — живут с ним.

Ученики, которых привозили осенью, узнавали за первый месяц три вещи. Первое: на вопросы о фонде отвечают формулой «инспекция — служебная процедура». Второе: стипендию получают те, кого выбирают до приезда. Третье: в списках лицея бывают прочерки — и прочерк не обсуждают.

Один из прочерков 1979 года узнал за первый месяц всё это — и четвёртое, чего не знал никто: что прочерк — не отсутствие записи. Прочерк — запись, у которой отобрали имя.

Его звали Арно.

Семнадцатого октября 1979 года он спустился к ужину позже всех — по расписанию, рассчитанному до минуты, — и за ужином не поднял глаз от тарелки. В девять он был в аудитории на третьем этаже северного крыла. В девять ноль-две ему объявили тему.

Тему объявляли так, как в этом доме объявляют всё: не прося готовности — требуя её. Формулировку прочёл старший из трёх — тот, кто держал в руках листы с заготовками. Арно услышал тему и понял, что час, который ему дали, потратили на неё заранее: формулировка была построена против него, как строят ловушку — от ответа, а не к вопросу.

Он не отпросился. Он взял мел.

Трое стояли против него с заготовками — каждый со своим листом, и листы перекрывали друг друга, как черепица: что бы он ни сказал, сверху уже лежал следующий довод. Он спорил так, как умеют спорить только девятнадцатилетние — не экономя голоса и не придерживая мысли. К полуночи он проигрывал по всем формам: по доводам, по времени, по залу. Зала,

впрочем, не было: в аудитории сидели трое, дежурный в коридоре и один человек, который не входил — стоял за дверью, слушая.

Арно это знал. Он спорил для человека за дверью.

В двадцать минут первого он перестал спорить. Не сдался — закончил: положил мел, вытер руки и сказал фразу, которую потом никто не смог воспроизвести дословно, потому что дословно её воспроизводили трижды, и каждый раз она звучала иначе. Смысл запомнили все: он сказал, что проиграл спор и не проиграл вопроса.

Потом он встал, чтобы уйти, — и умер между кафедрой и дверью.

Звук был короткий — короче крика: так звук делает глухая комната. Трое оппонентов встали не сразу: так встают, когда произошедшее ещё не получило названия. Первым название дал старший из трёх — тихо, не поворачиваясь к телу:

— Несчастный случай.

Название вступило в силу. Так в этом доме работали имена: произнесённое голосом становилось распоряжением, а распоряжений здесь не обсуждали. Через много лет выучка станет похожа на магию. Магии не было: были люди, которые исполняли.

Дежурного позвали из коридора. Он был молод — двадцать три года, из фонда, без фамилии в штате: у него была должность, и должность была его лицом. Он вошёл, посмотрел на тело между кафедрой и дверью — головой к стене, руки раскинуты, как раскидываются падающие, — и увидел то, что видели все: упавший.

Падающие цепляются. Тот, кто падает у двери, цепляется за ручку. Этот не цеплялся.

Молодой дежурный не сказал этого. Он стоял и ждал, что ему скажут, — и в ожидании была вся его жизнь до этой ночи — и вся жизнь после неё.

Ему сказали: заприте дверь и ждите. Он запер — у него был ключ, и ключ повиновался, как повинуется всё, что в этом доме расписано. Он стоял в коридоре сорок минут. За дверью не было звука — ни голосов, ни шагов. Потом открылась дверь, и вышли трое — спокойно, не спеша, с интервалом в несколько секунд, как выходят с рабочего дня. Старший из трёх задержался на шаг и сказал ему фразу, которую он запомнил на всю жизнь и сорок шесть лет не повторял вслух:

— Вы подписали порядок. Порядок подпишет вас.

Молодой дежурный не понимал, что подписал. Он узнал это утром.

Утром, в десять, его позвали в кабинет управляющего. Там сидели четверо: управляющий, старший из трёх оппонентов, человек из канцелярии и Иероним Ремер — впервые и единственный раз за год работы дежурного молодой человек видел его ближе трёх шагов. Лицо его было таким, как на портрете: собранным, безликим, с ртом, который не тот.

Управляющий говорил. Иероним молчал — и молчание его весило больше всех слов.

— В списках лицея числится прочерк, — сказал управляющий. — Прочерк не умирает. Прочерк не подписывает протоколов. Прочерк не переезжает в другой город и не пишет писем. Вчера в аудитории на третьем этаже никого не было. Была лампа, которая погасла в двадцать минут первого. Лампы гаснут. Это естественный порядок.

— Протокол слушания, — сказал молодой дежурный, и голос его не изменился, потому что он следил за этим. — Я его не подписывал.

— Никто не подписывал. Протокола не было: не было слушания. Было собрание. Собрания не протоколируют. — Управляющий сложил руки. — Вы были в коридоре. Вы никого не впускали и не выпускали. Служба выполнена.

— А тело?

— Какое тело? — спросил человек из канцелярии ровно. И дежурный понял, что вопрос не жестокость — экзамен: в этом доме учат не говорить того, чего нет на бумаге.

— Никакого, — сказал дежурный.

— Верно. — Управляющий кивнул. — Останется ли так — зависит от вас. Вы теперь человек, который слышал собрание. Собрание — это внутреннее дело дома. Внутренние дела не выходят за ворота. Вы выйдете за ворота через много лет, и к тому времени в вашей памяти должно остаться только то, что было: коридор, дверь, лампа. Ни имён, ни темы, ни звука. Повторите.

— Коридор. Дверь. Лампа.

— Порядок, — сказал Иероним Ремер. Единственный раз за всё утро. Голос был негромкий, без нажима, — голос человека, исправляющего описку, — и дежурный потом сорок шесть лет слышал его в каждой служебной формуле этого дома.

Когда все вышли, Иероним задержался у окна. Молодой дежурный стоял у двери — по привычке стоять, — и видел профиль человека, которого портрет изображал не тем ртом.

— Он спорил для вас, — сказал дежурный. Не спросил. В этом доме не спрашивали — констатировали.

— Он спорил для меня все девятнадцать лет, — ответил Иероним. Не оборачиваясь. — Поэтому его не было в списках. Списки — это мишени. Я сделал его невидимым, чтобы сделать его живым. — Он помолчал. — Это единственный просчёт моей жизни: я думал, невидимость защищает. Невидимость не защищает. Невидимость позволяет исчезнуть без следа — и тем, кто исчезает, и тем, кто их стирает. Одним и тем же инструментом. Теперь я это знаю. — Он повернулся. — Запомните и вы: дом без лица не может спасти тех, кого не показывает. Если однажды придёт человек, который захочет вернуть имена, — не мешайте. Это будет месть, но не моя и не его. Это будет месть порядка самому себе.

Он вышел. Дежурный остался стоять у окна — там, где стоял человек без лица, — и смотрел на двор, где под сенью деревьев рабочие разгружали машину с надгробными плитами. Плиты ехали не в лицей. Плиты ехали в город, на семейный участок, и на одной из них, под слоем обёрточной бумаги, уже стояла дата — семнадцатое октября — и имя, которого не было ни в одном списке.

Вечером того же дня канцелярия получила распоряжение — устное, как все распоряжения этого дома: завести ящик. Не для дел — для того, что не должно остаться делом. В ящик, оклеенный изнутри серой бумагой, положили первый лист: список присутствовавших на собрании семнадцатого октября — с одной зачёркнутой строкой и тремя подписями, которых следом не оказалось. Фонд платил прочерку. Фонд не платит прочерку — он платит имени, и имя выдала канцелярия: хозяйское, безымянное, взятое давно из книг выбывших сороковых. На платёжных бумагах оно стояло; в списках его не было. Дом прятал своих не от людей — от списков. А когда прочерк умер, имя осталось жить: закрытие дела требует даты, а у дома нет дат для своих.

Ящик запечатали. Пломбу — двойную рамку, овальную — ставил сам человек из канцелярии; он ставил её и потом, много лет, и научился ставить так, чтобы пломба выглядела нетронутой и после вскрытия. Это умение не входило в его должностные обязанности. Оно входило в его профессию.

Портрет оставался над лестницей — с пустой табличкой. Через год под ним перестали останавливаться: лицо без имени приело глаз, как стёртая надпись. Так работал дом: не запрещал память — позволял ей стать привычкой, а привычка не спрашивает.

А прочерк в списках оставался прочерком. Раз в месяц его проводили против пустой графы — для порядка, — и графу оставляли пустой. Пустота — тоже запись, если её поддерживать.

Через девятнадцать лет в этом доме произнесут имя «Элиас Ренн» — чужое имя для чужого человека, и оно вступит в силу, как вступило название «несчастный случай». Ещё через двадцать семь лет после этого — в 2025 — зал соберётся в двадцать часов семнадцатого октября и произнесёт имя «Арно Ремер» одной строкой в акте.

А в этот вечер 1979 года ничего ещё не началось. Дежурный закрыл аудиторию, проверил замок дважды — по правилу, которое не повторяли, потому что его нельзя было забыть, — и спустился по северной лестнице, стараясь не слышать собственных шагов.

Шаги были ровные. Так ходит тот, кто много лет ходит одной дорогой.

Ему было двадцать три. Дорога только начиналась.

Часть первая. Лицей Святой Агаты

Глава 1. Стипендиат

Автобус довёз Эдриана Коула до последней остановки — дальше шла дорога, которой не было на карте, и он понял, что лицей не хочет, чтобы его было легко найти.

Дорога вела вверх через сырой хвойный лес, и чем выше она поднималась, тем дороже становились деревья: сначала обычная сосна, потом ели с чьей-то фамилией на медной табличке у корней — как будто и лес здесь числился по документам. За последним поворотом открылся лицей Святой Агаты: длинный каменный фасад цвета мокрого пепла, узкие окна в три ряда, над парадным входом — часы, застывшие на без пяти двенадцать.

Эдриан запомнил это время. Потом оно ещё пригодится ему, но пока он просто подумал, что в учреждении, где всё подчинено расписанию, остановленные часы — либо преднамеренный аргумент, либо очень старая небрежность. И то и другое о чём-то рассказывало.

Шофёр поставил его старый чемодан на гравий и не стал дожидаться. У ворот их было двое: швейцар в серой куртке и девочка примерно его возраста, которая держала открытый блокнот, как держат не записи, а полномочия.

— Фамилия? — спросил швейцар.

— Коул. Эдриан Коул. Стипендия.

Слово «стипендия» он произнёс ровно, без понижения голоса. Он давно понял: если самому сделать из этого слабость, другие сделают из него оружие.

Девочка в блокноте подняла глаза. Она просмотрела его насквозь — быстро и без неприязни, как проверяют багаж, — и что-то отметила. Отметила она то, что отмечают не глаза, а опыт: пиджак старый, но выглаженный до следа утюга на сгибах; обувь чинили не один раз — и не там, где берут за срочность.

— Эдриан Коул, — повторила она, не для швейцара. — В этом году ещё один. Второй за тридцать лет.

Швейцар поморщился — едва заметно, но Эдриан поймал это движение раньше, чем девочка успела закрыть блокнот.

— Внутренний двор налево, — сказал швейцар. — Секретарь в холле. Не заходи на северное крыло, там занятия старших курсов.

Это было ложь или полуправда — Эдриан не знал ещё какую, но он отметил, что северное крыло запретили раньше, чем спросили, зачем он сюда пришёл.

В холле пахло воском и старой бумагой. Каменный пол, тёмные панели, портрет основателя над лестницей — человек с лицом, которое художник дорисовал по описанию. Секретарша — женщина лет сорока пяти, с идеально ровным пробором — нашла его фамилию в списке без труда, а вот имя прочитала с запинкой, будто впервые.

— Коул… Эдриан. Вы у нас… — она заглянула во вторую колонку, — по филологическому направлению. Кабинет распределения — второй этаж, после объявлений.

На стене висел список первокурсников. Эдриан нашёл свою фамилию — она шла последней, после фамилий, у каждой из которых в третьей графе стояли римские цифры. У его фамилии графа была пустая. Он спросил, что означают цифры.

— Благодарности, — сказала секретарша, не поднимая головы. — Семьи. Имеется в виду… вклад.

— Вклад в лицей, — уточнил Эдриан.

— В лицей, — согласилась секретарша. Пауза вышла короткой, но Эдриан успел в неё уложиться: она поправила лист на столе, и когда подняла глаза, лицо у неё было ровным, как у человека, который привык не слышать собственных оговорок.

Он поднялся на второй этаж, и здесь его догнал тот самый голос из блокнота.

— Ты новенький второй, — сказала девочка. Блокнот она теперь держала закрытым. — Мэйв Келлер. Театральное отделение. Я веду учёт слухов.

— Учёт слухов, — повторил Эдриан.

— В этой школе слухи — единственный жанр, которому никто не мешает, — сказала она. — Я их коллекционирую. Хочешь, скажу твой?

— Я сам себе слух, — сказал Эдриан. — Стипендиат. Лишнее доказательство, что место в лицее можно купить.

Мэйв улыбнулась так, будто он сдал первый экзамен.

— Смотри, как быстро ты понял правила. Значит, выучишь и остальные. — Она пошла с ним рядом, не спрашивая разрешения. — Слушай. Первое правило: здесь не задают вопросов, на которые взрослые не готовы ответить. Второе правило: если всё-таки задал — не задавай его дважды. Третье правило…

— Не задавать вопросов, на которые не готовы ответить я сам, — сказал Эдриан.

Мэйв остановилась и посмотрела на него внимательно.

— Ты либо быстро учишься, либо уже знаешь что-то такое, чего не должно знать новенькому. Второе — интереснее.

— Первое, — сказал Эдриан. — Пока первое.

В зале распределения первокурсников было человек двадцать, и все они друг друга знали. Эдриан понял это за десять секунд: по тому, как здоровались, по тому, кто кого называл по фамилии, а кто — по уменьшительному имени, по тому, что разговоры шли вполголоса и обрывались, когда входил старший. Он встал у стены — привычка человека, который всю жизнь занимает место у стены, — и начал работать.

Девочка с часами на запястье, хотя расписание висело в каждом коридоре: значит, время для нее — личная вещь, которую можно предъявить, — она носит своё при себе и не отдаёт дому. Девочка, которая переделала трижды одну и ту же фразу: значит, редактирует не речь, а впечатление. Староста курса — Эдриан узнал его по тому, как остальные расступаются, — высокий, аккуратный, с лицом человека, у которого есть позиция по каждому вопросу. Он стоял не в центре зала, а на полшага от центра: так, чтобы не быть ни впереди, ни позади. Это тоже позиция, и самая выгодная из всех.

Староста заметил, что Эдриан смотрит. Подошёл — не торопясь, с намерением, которое не собирался скрывать.

— Илайас Уорд, — сказал он. — Староста первого курса. Ты Коул?

— Коул.

— Стипендиальный фонд объявил только одно место. — Илайас сказал это нейтрально, как констатируют погоду, но Эдриан услышал в ней вопрос, который не задали.

— Значит, фонд ошибся, — сказал Эдриан. — Или кто-то решил, что мне здесь место. Любой вариант чем-то лучше твоей осведомлённости.

Илайас посмотрел на него секунды на две дольше, чем требовалось, — и Эдриан понял, что это тоже приём, отработанный до совершенства: молчание, из которого человек выйдет либо виноватым, либо затаившим.

— В лицее есть правила, — сказал Илайас. — Их немного. Их соблюдают.

— В школе, где учат спорить, правила не соблюдают, — сказал Эдриан. — Их цитируют.

Илайас не ответил. Но на выходе из зала Эдриан заметил, что староста оглянулся, — и оглянулся не на него, а на его папку, которую секретарша несла за собой. Это было лишнее движение. Лишние движения — единственная честная вещь в разговоре, где всё остальное отрепетировано.

Вечером он сидел в комнате, которую ему выделили, — маленькой, с одним окном во двор, — и разбирал день по полочкам, как разбирал всегда. «Всегда» — это одиннадцать лет: с семи, с вечера, когда мать вернулась из конторы без премии и сказала единственную

фразу: «Приказ вышел задним числом». Он не понял слова. Механику понял сразу: написанное сегодня действует вчера. С той зимы он читал всё, что попадало под руку, — как читают инструкцию к устройству, которое решает, где тебе стоять.

Девочка с блокнотом знала, кто он, до того, как он назвался. Значит, список первокурсников обсуждали заранее — или обсуждали что-то ещё. Швейцар отсоветовал ему северное крыло слишком быстро. Секретарь споткнулась на его имени — а имена не спотыкаются, спотыкаются на решениях, принятых до его приезда.

Эдриан достал тетрадь — тетрадь была сшита вручную, нитки старые, первую страницу оставил чистой — привычка, которая однажды его спасёт, — и начал на второй:

Лицей Святой Агаты. Наблюдения, день первый.

1. Директор не вышла. Новых учеников принимает секретарь. Это либо пренебрежение, либо осмотрительность. Или страх.

2. Северное крыло. Запрет без объяснения. Спросить у Мэйв.

3. «Второй за тридцать лет». Спросить, кто был первым. Спросить осторожно.

4. Папка. Илайас смотрел не на меня — на документы. Что могло быть в папке стипендиата, кроме оценок?

Он дописал и перечитал. Всё сходилось в одну точку: его ждали. Не в смысле «ждали поступления» — в смысле «ждали именно его». И если это было правдой, то кому-то здесь его приезд был неудобен, а кому-то — очень нужен. В тёмном стекле поверх двора отражалось его лицо — худое, с ровными тёмными бровями, с той собранностью, какую видят в людях, привыкших сначала сосчитать, потом сказать.

За окном догорал сентябрьский вечер. Где-то внизу прошёл швейцар, погасил лампу в коридоре, и от этого свет в дальнем окне напротив — там, за северным крылом, где по словам швейцара не было ничего, кроме запасных аудиторий, — стал виден ярче.

Эдриан прильнул к стеклу. Свет горел на четвёртом этаже. Ровный, жёлтый, немигающий — свет лампы, под которой кто-то работает и не собирается уходить.

Он запомнил окно. Сосчитал этаж. Отметил, что ровно в двадцать три свет погас — как по команде.

5. Северное крыло. Кто-то работает по ночам. Либо это не запрет посещения, а запрет свидетелей.

Он закрыл тетрадь и подумал, что впервые за очень долгое время ему не скучно. А потом — что это, возможно, самое дорогое, что у него есть, и что лицей уже начал брать плату.

Глава 2. Правила для новых

Директор Ланская собрала первокурсников в актовом зале на следующее утро — в десять, а не в девять, и Эдриан отметил, что расписание здесь меняют так же легко, как подписывают бумагу.

Он увидел её раньше, чем она вошла: по тому, как менялся зал. Разговоры не прекратились — их стало меньше, а то, что оставалось, стало тише. Это была не боязнь. Это была вежливость людей, которые заранее знают, что им прикажут, и согласны сэкономить время.

Селеста Ланская была года на пять старше секретарши и на двадцать моложе собственного портрета, который висел у неё за спиной, — портрет писали явно с той же расчётливостью, с какой она держалась: три четверти лица, свет слева, взгляд чуть мимо зрителя. Сама она встала точно по центру сцены — не за кафедрой и не перед ней, а так, чтобы между ней и залом не было препятствий.

— Доброе утро. Вы у меня впервые, и я у вас тоже. Каждый год я говорю одни и те же слова, и каждый год мне кажется, что говорю их впервые. — Она улыбнулась. Улыбка вышла точной, как измерение. — Святая Агата старше всех вас, вместе взятых, умноженных на возраст ваших родителей. Здесь учили людей, которые потом учили других, и где-то в этой цепочке — люди, чьими фамилиями названы аудитории и стипендии. Я рассказываю это не для гордости. Я рассказываю, чтобы вы поняли: лицей пережил всех, кто пытался его переделать. Он переживёт и вас. Задача не в том, чтобы выжить здесь. Задача в том, чтобы он вас запомнил чем-нибудь, кроме нарушенного режима.

Пауза. Она дала залу отработать фразу — Эдриан видел, как это сделано: слово «переживёт» она произнесла с нажимом, а потом замолчала на две секунды ровно, чтобы мысль успела осесть.

— Теперь правила. Их семь. Список висит в каждом коридоре, и вы можете читать его сколько угодно, но я скажу вслух три, потому что именно о них каждый год кто-нибудь «не знал». — Она подняла палец. — Первое: после одиннадцати вечера никто не выходит из своих корпусов без письменного разрешения куратора. Второе: архив лицея закрыт для учеников всех курсов. Не «по записи», не «по согласованию» — закрыт. Третье: ночные собрания запрещены. Я говорю это вслух, чтобы никто в будущем не сказал, что не слышал.

Эдриан услышал. Но его зацепило не правило — тон. Остальные правила директор перечислила по бумажке, которую раздали утром: «телефоны сдаются на ночь», «верхняя одежда — в гардеробной», «жалобы подаются куратору». Это было скучно и оттого честно. А три правила, произнесённые вслух, она произнесла иначе — медленнее, глядя поверх голов, на дальнюю стену. Так говорят не распоряжение. Так говорят приговор, отсроченный на неопределённый срок.

Особенно правило про архив. «Не „по записи“» — Эдриан мысленно повторил интонацию. Ланская не уточняла правило. Она отсекала вопрос, который ещё не был задан. Значит, вопрос уже задавали — и не раз.

— Вопросы, — сказала директор, когда закончила.

Зал молчал. Потом в третьем ряду поднялась рука — той самой девочки с часами, которую Эдриан заметил вчера.

— Если архив закрыт для всех, — сказала она, — то, кто в нём работает?

— Взрослые, — ответила Ланская. — Это и есть определение взрослости: одни закрывают двери, другие спрашивают, почему. Со временем вы поймёте ценность обеих профессий.

По залу прошёл смешок — короткий, одобрительный. Эдриан не улыбнулся. Ответ был красивый, готовый и старый, как сам лицей: на него отвечали не впервые. Значит, девочка задала не свой вопрос — она спросила то, что здесь спрашивают каждый год, и услышала

каждый раз один и тот же ответ. В школе, где всё придумано заново, существовал ритуал, повторявшийся дословно.

Ритуалы бывают только там, где что-то нужно не забывать.

После сбора первокурсников развели по аудиториям. Эдриану досталась филология, второй этаж северного корпуса, и он понял, что запрет швейцара относился не к крылу, а к его обитателям: он будет здесь учиться весь год, но «не заходить» его всё равно просили — до официального зачисления. Кому-то было важно, чтобы он не побывал на севере раньше срока. Либо чтобы не побывал там, пока не научат правильно спрашивать.

За ужином в столовой Эдриан занял место в конце длинного стола — рядом оказался Самир Рахман, худой, тихий, с пальцами в чернильных пятнах. Он ел молча, а потом, не глядя на Эдриана, сказал:

— Ты сидишь на моём месте.

— В столовой есть места? — спросил Эдриан, но придвинулся. — Извини.

Самир пожал плечами и продолжил есть. Минуты через две, всё так же не глядя, добавил:

— Столовая — единственное место, где за столами сидят по привычке, а не по расписанию. Привычки здесь меняют раз в поколение. Ты сломал привычку — садись теперь, раз сломал.

Это было почти дружелюбие — и Эдриан отметил, что «почти» здесь, возможно, и есть дружелюбие. Он спросил, чем Самир занимается. Тот ответил: «Архивами», — и посмотрел на него так, будто проверял, вздрогнет ли Эдриан от этого слова.

— По расписанию, — сказал Эдриан, — или по сигналу?

Самир перестал жевать. Посмотрел. Впервые за весь ужин — прямо.

— Ты вчера смотрел в окно, — сказал он ровно. — Двадцать минут. Я тоже иногда считаю чужие окна. Не советую.

Он встал, отнёс поднос и ушёл. Эдриан остался сидеть с холодным чаем и неприятной ясностью: его наблюдали так же старательно, как он наблюдал сам. И наблюдающим оказался не взрослый.

После ужина его догнала Мэйв Келлер.

— Ну? — спросила она.

— Что — ну?

— Директор. Впечатление. Ты стоял у стены и что-то писал в тетрадь, я видела. Делись.

— Она сказала «лицей переживёт и вас», — сказал Эдриан. — Обычно в школах говорят «мы в вас верим».

— И что?

— «Мы в вас верим» — это про будущее. «Он вас переживёт» — это про себя. Она говорила не о вас. Она говорила о здании. Так говорят, когда здание дороже людей, которые в нём находятся.

Мэйв остановилась посреди коридора и посмотрела на него с интересом уже не любопытствующим, а оценивающим — как оценивают инструмент перед покупкой.

— Ты так со всеми злишься? — спросила она.

— Я так думаю вслух. Злиться — выбор слушающего.

— Здесь за такое думание вслух платят, — сказала Мэйв. — Курсом, репутацией, местом в списке. Запомни: в Святой Агате не наказывают за проступки. Наказывают за то, что ты заметил.

— А заметил я уже достаточно?

— Вопрос, — Мэйв улыбнулась, — на который я не готова ответить. А я в этом коридоре единственная, кто вообще что-то кому-то отвечает. — Она пошла прочь, потом обернулась: — Кстати, раз уж ты «заметил». Северное крыло ночью — не ходи. Это не предупреждение

свыше, это наблюдение по факту: тот, кто ходит, попадает в списки. А в списки здесь попадают надолго.

— В какие списки? — спросил Эдриан.

Мэйв пожала плечами, и жест вышел вежливым до полной невнятности. Она знала. Она не скажет. Она продавала информацию по грамму, и грамм сегодня уже был продан бесплатно — всё сверх этого она считала потерей.

Вечером Эдриан сидел в своей комнате и перечитывал утренние записи. Потом дописал:

6. Ланская. Семь правил, три произнесены вслух. Вслух — значит, важно не содержание, а слух. Архив: запрет, сформулированный дважды — на бумаге и голосом. Второй раз был не для зала, а для одного слушателя. Или для всех сразу.

7. Девочка с часами задала вопрос «кто работает в архиве». Ответ не менялся годами — оттого и красивый. Значит, вопрос задаётся регулярно. Значит, архив интересует не одного меня. Кто спрашивал до меня — и что с ними стало?

8. Мэйв. «Наказывают за то, что ты заметил». Она сказала это с удовольствием. Значит, считает правило справедливым. Или хочет, чтобы я так думал, потому что мне так безопаснее думать.

9. Рахман. «Не советую» — единственная фраза за вечер, сказанная не по заготовке. Значит, искренняя. Люди не советуют тому, кто им безразличен. Запомнить.

Он закрыл тетрадь и погасил лампу — но не лёг. Вчера в двадцать три свет в северном крыле погас сам. Сегодня Эдриан выглянул в окно в двадцать два пятьдесят два и стал ждать. Свет горел. В двадцать три ноль-ноль он погас — секунда в секунду. Эдриан сел обратно к столу и добавил десятую запись:

10. Ровно в двадцать три. Не «когда закончил» — по сигналу. Здесь кто-то работает по расписанию, которое знает больше, чем всё расписание лицея вместе взятое.

Он положил тетрадь под подушку — не от страховки, от привычки. И подумал, что лицей пережил много таких, как он, и что все они наверняка тоже вели тетради. Разница была только в том, что тетради их потом куда-то девались.

Глава 3. Кабинет без часов

В аудитории, где Вельский читал историю, не было ни одних часов. Ни на стене, ни над доской, ни — Эдриан проверил во время первой лекции — в кармане самого профессора, если часы вообще существовали: на запястье у Вельского остался только светлый след от ремешка, как будто часы сняли давно и насовсем.

Вместо часов на стене висела карта Европы сорокалетней давности, с границами, которых больше не было. Эдриан в первый день заподозрил в этом небрежность. Теперь он понимал: здесь не было небрежности. Ничего не стояло случайно — а если стояло, то потому, что кому-то было удобно, чтобы оно стояло именно там.

Занятие Вельский начал не с темы и не с переклички. Он сел на край стола, оглядел аудиторию так, как оглядывают составленную партию, и сказал:

— У меня для вас плохая новость: сегодня никаких дат не будет. Даты выучить легко. Даты — это то, что выдают тем, кому не доверяют думать.

Он раздал четыре листа. На каждом был короткий отчёт об одном и том же вечере — конец сентября, столкновение двух групп учеников в дальнем дворе, разбитое окно на первом этаже, отчисление одного из участников. Четыре свидетельства. Имена совпадали, факты — нет.

— Ваша задача, — сказал Вельский, — восстановить вечер. Не «правильную версию» — её не существует. Вечер. У вас час, дальше спор.

Аудитория зашевелилась. Эдриан развернул свои четыре листа и не начал читать сразу — он начал считать.

Первое свидетельство было подробнее всех: время, места, последовательность движений, даже слова, которые были сказаны. Слишком подробное. Человек, которому есть что скрывать, всегда помнит лишнее — он репетировал.

Второе сходилось с первым по сути и расходилось в деталях. Эдриан отметил: расходилось именно там, где первое было уязвимо. Так не лгут. Так проверяют чужую ложь на прочность, прикрывая её собственным авторитетом.

Третье свидетельство было сбивчивым, записано наспех, одним абзацем, с исправлениями по краю. И в нём — единственное место, куда не смотрели остальные: южная лестница. Все четверо расступились вокруг одной точки, как вокруг лужи.

Четвёртое Эдриан перечитал дважды. Оно было честным. Именно поэтому оно ни во что не вписывалось: свидетель вообще не был во дворе, но записал то, что слышал из окна, и не придумал к этому ничего.

Через час Вельский вызвал спорить. Первым пошёл Илайас: староста взял версию, совпадавшую с официальной (провинившийся ученик бросил камень, второй оказался рядом, третий лжесвидетельствовал), и разбирал её с той же уверенной дотошностью, с какой проверял распорядок дня. Он выстроил показания по минутам, указал, где расходятся описания погоды, и потребовал, чтобы противник сначала объяснил расхождение, прежде чем строить что-то дальше. Это был приём профессионала: заставить защищать мелочи, чтобы не говорить о главном.

— Коул, — сказал Вельский, когда Илайас закончил. — Против.

Эдриан встал и не стал откладывать.

— Расхождение в погоде объясню за десять секунд: первый свидетель пишет о вечере наутро, второй — через неделю, а через неделю осенью всегда помнят солнце. Мелочи спорят только с теми, кто согласен спорить о мелочах. Я не согласен. Свидетельства говорят о том, что на юге в тот вечер кто-то был. Все четыре расходятся в деталях и сходятся в одном: никто не упоминает южную лестницу. Не «я видел» — вообще не упоминает. Так не бывает.

— Свидетели видели разное, — сказал Илайас. — Случайность.

— Четыре человека, задокументировавшие один вечер, забыли одно и то же место — не случайность, — сказал Эдриан. — Это согласованная лакуна. Дальше. Второе свидетельство везде подтверждает первое, но меняет одно слово: «придержал» вместо «толкнул». Тот, кто лжёт в свою пользу, не станет так делать — он усугубит, чтобы отвести от себя. Значит, второму было важно, чтобы первое осталось в силе и выглядело подтверждённым. Он не лжёт. Он страхует. Наконец, первое свидетельство слишком подробно для человека, которого отчислили на следующий день. Детали в таком объёме не помнят — их готовят. Значит, показания отрабатывали заранее, до того, как произошёл сам инцидент.

— Вывод: камень бросили до того, как появились свидетели. Вечер показывают нам задом наперёд — от приговора к преступлению. А восстановить его надо в прямом порядке: сначала встреча на южной лестнице, потом всё остальное. И тогда отчисленный ученик окажется не виноватым, а назначенным виноватым — а это разные вещи.

В аудитории стало тихо — той тишиной, в которой люди понимают, что услышали больше, чем собирались. Илайас не ответил сразу: Эдриан сместил саму плоскость спора. Спор шёл не о том, что произошло, а о том, как умолчания распределяются между людьми — и на этом поле у старосты не было заготовок.

— Если ты прав, — сказал наконец Илайас ровно, — кто-то организовал показания. Взрослые не пишут свидетельства за учеников.

— Взрослые не пишут, — согласился Эдриан. — Взрослые говорят ученикам, какие слова будут удобны. Дальше ученик сам. Ложь не нужно диктовать — её достаточно одобрить.

— Доказательств у тебя нет, — сказал Илайас.

— У меня нет ничего, кроме четырёх листов, которые дал профессор, — сказал Эдриан. — Если в этом упражнении невозможен вывод об организованности — значит, упражнение составлено так, чтобы его нельзя было сделать. Тогда я не знаю, зачем оно нам. Если вывод возможен — он перед вами.

Вельский поднял руку — не для того, чтобы объявить победителя, а для того, чтобы спор кончился.

— Достаточно, — сказал он. И добавил, уже без отражения в голосе: — Ближе к правде, чем я ожидал. Кому-то это следовало бы сказать вслух и на людях. Не сказал.

После занятий аудитория опустела быстро — здесь не расходились, а исчезали, выключаясь из комнаты. Эдриан собирал листы медленнее прочих: хотел увидеть, как уйдёт Вельский, и не столкнуться с разговором на людях.

Он не рассчитал. Вельский не ушёл — он остался, сложил свои листы и сказал, не поднимая головы:

— Коул. Мгновение.

— Господин профессор.

— Ты сегодня сказал две правильные вещи, — Вельский наконец поднял взгляд. — Первая: человек, которого готовили к показаниям, помнит их дольше, чем событие. Вторая: взрослые не пишут — они говорят, какие слова удобны. — Он выдержал паузу. — Вопрос тебе, не на оценку. Умеешь ли ты отличать ошибку от лжи?

— Умею, — сказал Эдриан.

— Докажи.

— Ошибающийся человек забывает, — сказал Эдриан. — Лгущий — договаривает. Ошибка всегда видна на фоне подробностей: её надо достраивать. Ложь самодостаточна: она гладкая, в ней нечего исправлять, потому что она придумана целиком. Ошибающийся готов признать, что забыл, и расстроен, что забыл. Лгущий защищает не себя — версию. Пока версия цела, он спокоен. Начни её разбирать — и увидишь страх, которого не было, когда он лгал.

Вельский слушал, не перебивая, и смотрел так, будто слышал не ответ, а повторение. Отголосок того, что ему когда-то говорил кто-то другой — или что он сам говорил себе, в этой же аудитории.

— И что ты будешь делать, — спросил он наконец, — когда лгут не потому, что боятся, а потому, что лгут давно? Когда ложь вошла в привычку так, что сам лгущий путает её с правдой?

— Тогда я буду искать того, кому эта ложь выгодна, — сказал Эдриан. — Если лгут годами — значит, годами есть что скрывать. Тот, кто скрывает, не всегда самый громкий. Чаще всего он тот, кто первым назвал произошедшее несчастным случаем.

Вельский кивнул — так, как кивают не согласию, а подведению итога.

— И ещё вопрос, не на оценку. Кто тебя учил раскладывать показания по минутам?

— Никто. Приказ.

— Какой приказ?

— Тот, который действует вчера. Научите читать их в другом порядке — я научусь.

— Сумеешь, значит, — сказал он. — Жаль. — И добавил тише, будто продолжая разговор с собой: — Далеко пойдёшь. И это плохо кончится.

— Господин профессор... — начал Эдриан.

— Иди, — сказал Вельский. — Завтра читаем о тридцатых годах. О том, как из страха делают документ.

Эдриан вышел в коридор. «Как из страха делают документ» — в программе на завтра стояла эпоха, а не приём. Тему профессор взял из жизни, и Эдриан впервые за две недели почувствовал, что говорит с человеком, который обращается не к аудитории, а к нему одному.

Он шёл по коридору, и в голове уже писал: *ошибка — забывает, ложь — договаривает. В лицее сегодня лгали договаривая — четырежды, на четырёх листах, за один вечер. Значит, тот, кто здесь был раньше и умел так же, — либо ушёл, либо стал главным*.

У выхода из корпуса он оглянулся. В окне аудитории Вельский погасил лампу и остался стоять у стола — неподвижный, без часов, которые могли бы сказать ему, сколько времени осталось. Время шло всё равно: Эдриан видел это по тому, как темнела фигура за стеклом.

Вечером он переписал запись в тетрадь набело:

Вельский. Не проверяет учеников — собирает их. Спор на листах был собран под мой ответ: он знал, что я скажу про южную лестницу, и ждал этого. Вопрос «ошибка или ложь» — не экзамен. Он ищет того, кто умеет разоблачить договаривание, потому что сам собирается что-то разоблачить.

Если он ищет напарника — он первым и последним здесь открыто говорил со мной правду. Это делает его самым уязвимым человеком в лицее. Включая меня.

Он закрыл тетрадь и подумал, что слишком быстро назвал Вельского союзником. Люди, которые говорят правду именно тогда, когда она нужна собеседнику, бывают двух видов: честные и очень опасные. Профессор был либо первым, либо вторым. Третьего варианта у этого заведения, кажется, не было.

Глава 4. Карточка

Библиотека Святой Агаты занимала два зала старого корпуса. Над дверью в камень была врезана надпись: «Знание, свободное от памяти, — материал для лжи». Для эпитафии — слишком мрачно. Для девиза — в самый раз.

Эдриан зашёл туда, готовясь к семинару о тридцатых годах. Внутри пахло пылью, старым клеем и деревом; длинные столы с зелёными лампами стояли ровно, как на параде, и даже стулья были задвинуты под столешницы на одинаковую глубину. Здесь никто не правил порядок — порядок правил всеми.

Вдоль дальней стены тянулся карточный каталог: дубовые ящики с латунными ручками, три яруса, вся стена. Прошлый век в пыли. Эдриан прошёл бы мимо, если бы не таблички. Под буквой каждого ящика, мелко, от руки, значилось, кто отвечает за секцию и когда она «последний раз просмотрена». Дата на ящике «К» стояла трёхнедельная.

Старый каталог не сохранили по традиции. Его обслуживали.

— Новенький? — из-за стеллажа вышла библиотекарша: сухая, седая, в очках на цепочке. На бейдже значилось «мадам Ансель». — Читальный зал до полуночи. Рукописи не выдаются. Кофе — нигде.

— Нужны источники о тридцатых. Публицистика, документы, дневники.

— Дневники — второй зал, нижняя полка. Документы — архив, а архив закрыт, вы уже слышали.

— Я слышал правило, — сказал Эдриан. — Причину не слышал.

— Причина, — Ансель посмотрела на него поверх очков, — в том, что архивное дело требует взрослых. Здесь хранят вещи, которые портятся от неумелых рук. И от неумелых вопросов — тоже.

Она указала полки и ушла. Эдриан набрал стопку и сел у окна. Читал он невнимательно: часть головы — отдельная, всегда включённая — работала на наблюдение. К вечеру он собрал статистику: мимо каталога за день прошло одиннадцать человек, и одиннадцать бросили на ящики один и тот же взгляд — короткий, скользящий, с усилием отрыва. Так смотрят не на мебель. Так смотрят на дверь, которую разучились открывать и всё ещё не уверены, что она заперта.

Книги он возвращал после ужина. Каталог опустел — коридор гудел где-то далеко, в зале не было никого. Эдриан открыл ящик «К» ради формы: пожелтевшие карточки, мягкие края, машинопись вперемешку с рукописью. Потом сдвинулся к «Р».

Ряд был таким же старым — кроме одной карточки.

Она стояла в середине ряда, между «Реми» и «Рокфеллер», и первое, что Эдриан увидел, — цвет. Все карточки вокруг были цвета старого чая. Эта была белая. Бумага не успела пожелтеть; края не успели обтрепаться. На соседних чернила выцвели до серого — на этой лежали свежим матовым слоем, как будто написанные вчера.

Он повернул карточку к лампе.

ЭЛИАС РЕНН Зачислен: сентябрь 1996 года. Умер: 17 октября 1998 года. Не упоминать на занятиях

Шрифт — каталожный, машинописный, тот же, что на остальных. Только лента на этой осталась тёмной: буквы на старых карточках выцвели до фиолетового, а здесь были почти чёрными.

И последнее, что он заметил, ещё не отдавая себе отчёта, что именно заметил: карточка стояла не в конце ряда. Алфавит продолжался — «Ренн» должна была стоять после «Реми», там, где ряд заканчивался. Её вдвинули в середину, между двумя старыми, — так вставляют не запись. Так вставляют человека в чужую жизнь.

Эдриан перечитал нижнюю строку. Не «выбыл», не «отчислен». Умер. И — распоряжение: не упоминать на занятиях. Распоряжения пишут для тех, кто рядом живёт и говорит. Значит, когда-то в этом здании были люди, которым требовалось напоминать, что имя Элиаса Ренна не произносят. На занятиях. Именно на занятиях — не везде.

Он взял карточку и понёс на стол библиотекарши. Ансель была на месте — наклеивала ярлыки на новые обложки, движения у неё были быстрые и точные, как у человека, который всё успевает, кроме доверия.

— Вот, — сказал Эдриан и положил карточку. — Нашёл в ящике «Р». Она не по возрасту.

Ансель подняла глаза. Пауза вышла длиной в один взгляд — Эдриан засёк: меньше секунды. Слишком короткая для вопроса, о котором не думали, и слишком ровная для вопроса, о котором думали впервые.

— А, — сказала она. — Это старая шутка.

— Шутка?

— Здесь традиция. Новенькие любят подкладывать в каталог карточки на несуществующих людей. Обычно на себя или на учителей. — Она взяла карточку двумя пальцами, как берут чужую сигарету. — Стипендиаты особенно. Вам нужно чем-то отличиться — вот вы и отличаетесь.

— Мне карточку подложили?

— Карточку положил кто-то. Вам она попалась — потому что вы любите открывать чужие ящики.

— Элиас Ренн, — сказал Эдриан. — Кто это?

— Не знаю такого автора.

Ответ вышел слишком быстро. Не «не помню», не «надо посмотреть» — «не знаю такого». Так отвечают на вопрос, который задают не впервые и к которому ответ заготовлен.

— А если это не шутка? — спросил Эдриан. — Если человек был?

Ансель сняла очки. Протёрла их тканью — долго, с расстановкой, пока Эдриан не начал чувствовать себя зрителем чужого терпения. Потом надела обратно.

— Коул, — сказала она. — В этом каталоге сорок тысяч карточек. Если бы каждая шутка новеньких была правдой, лицей к этому году потерял бы весь преподавательский состав, а половину учеников списал в покойники. Идите. У вас завтра история.

— Карточку вернуть в ящик?

— Я разберусь с карточкой. — Ансель сунула её в карман халата. — Идите, я сказала.

Эдриан шёл к выходу медленно и на последних шагах обернулся — так он делал всегда: последние секунды разговора люди расслабляются, и на них лучше всего смотреть со спины. Ансель не расслабилась. Она сидела так же прямо, и рука её лежала на кармане халата — не в кармане, на нём. Лёгким нажатием, каким удерживают крышку.

Шутку оставляют на месте. Утилизируют улику.

По дороге в корпус он заглянул в компьютерный класс — тот закрывался позже библиотеки, и два терминала ещё горели. Электронный каталог лицея был новым, аккуратным и, как выяснилось через четыре минуты поиска, чистым. «Ренн» — ноль результатов: ни автора, ни темы, ни упоминания в подборках. «Реми» — шесть карточек. «Рокфеллер» — три.

Значит, бумажный каталог и электронный не сверялись никогда — либо сверялись, и сверялись не в пользу бумаги. Подложить карточку мог любой ученик. Почистить две базы — не мог. Правда обычно живёт там, где труднее убирать.

До отбоя оставался час. Эдриан вернулся в библиотеку — проверить, как здесь разбираются с шутками.

Ящик «Р» стоял запертым. Маленький латунный замок, которого час назад не было. Остальные ящики были открыты, как всегда: их никто не запирал ни днём, ни за все дни, что Эдриан здесь учился. Заперли один.

Он вернулся в комнату и открыл тетрадь. Страница «Лицей: люди» была уже заполнена — Вельский, Ланская, Мэйв, Уорд, Рахман, Ансель, швейцар, секретарша с ровным пробором. Теперь добавлялось имя, которого, возможно, никогда не было.

1. Карточка на человека. Каталог — инструмент для книг. Для человека заводят дело, а не ячейку. Кто-то строил учёт людей по образцу учёта книг — сознательно и с охотой.

2. Бумага белая, чернила свежие. Каталогу не меньше сорока лет. Карточке — меньше года. Кто-то дописывает прошлое прямо сейчас.

3. Электронная база чиста. Подложить карточку может любой. Убрать человека из двух баз сразу — нет. Либо шутник очень мал, либо кто-то очень большой.

4. «Не упоминать на занятиях» — не запрет, а служебная записка. Её пишут не для публики — для своих. В лицее есть круг людей, которым нужно напоминать, что Ренна не существует. Каталог — не тайна от учеников. Тайна — от чужих.

5. Ансель. Ответ «не знаю такого» прозвучал раньше, чем вопрос успел дозвучать. Карточку унесла в карман и накрыла карман ладонью. Шутки не прячут — их выбрасывают на глазах, чтобы снять вопрос. Эту спрятали.

6. Ящик «Р» заперт. Остальные открыты. Значит, в ящике «Р» есть ещё что-то, что нельзя показывать. Или там должно быть что-то, чего больше не должно быть.

7. До 17 октября — двадцать три дня. Если лицей хоть что-то помнит, в этом году он тоже будет это помнить. Молча.

Он закрыл тетрадь. Имя, которого нет в документах, теперь существовало на белой бумаге — и в его тетради. Эдриан пока не знал, кто такой Элиас Ренн: ученик, призрак или чья-то злая шутка. Но он знал точно одно: шутка — это тоже способ сказать правду. Люди шутят только о том, о чём боятся говорить серьёзно.

Глава 5. Соседи

Библиотека Святой Агаты работала до полуночи, и за неделю Эдриан выстроил в ней систему: нижний зал — для источников, верхний — для тишины. К пятнице он занимал стол у окна на верхнем этаже, откуда через балюстраду было видно половину нижнего зала.

Это не было слежкой. Это была статистика.

В понедельник четверо гостей прошли мимо ящика «Р». Во вторник к каталогу подошла мадам Ансель с ящиком, вынутым на ремонт, — латунный замок так и висел на нём недействующим. В среду мимо прошла Мэйв, не глядя, — и «не глядя» у неё было выполнено слишком тщательно: человек, которому всё равно, не следит за тем, чтобы не смотреть. В четверг пришёл Самир Рахман, сел с папкой рукописей и за два часа ни разу не поднял головы. А в пятницу к верхнему этажу поднялся Илайас Уорд.

Он шёл прямо к столу Эдриана и сел напротив — так садятся не к соседу, а к противнику.

— Ты сказал Мэйв, что нашёл карточку, — сказал Илайас. Не вопрос — констатация.

— Мэйв собирает слухи, — сказал Эдриан. — Я их не поставляю.

— Она услышала от Ансель. Ансель жалуется завхозу, завхоз — куратору, куратор доложил мне. — Илайас положил на стол руки — ровно, симметрично, как кладут карты. — Ты понимаешь, что ты сделал?

— Нашёл карточку. Спросил. Мне сказали, что это шутка. Я поверил настолько, насколько поверил.

— Здесь не поверил, — сказал Илайас. — И вот почему у тебя проблемы. В этой школе вопросов меньше, чем ответов, и каждый лишний вопрос стоит места. Ты новенький. У тебя нет права на вопрос, пока ты не заработал его. Это правило.

— Нет правила, — сказал Эдриан. — Есть привычка. Привычку я нарушить могу.

— Ты нарушаешь её публично.

— Тогда пусть её защитят публично.

Илайас смотрел на него долго. Потом сказал — без нажима, ровно, как о деле:

— Ты думаешь, что здесь все хранят одну тайну. Это твоя ошибка. Здесь каждая семья хранит свою, и они не пересекаются. Ты не понимаешь, с чем имеешь дело.

— Тогда объясни.

— Нет. Потому что ты не спрашиваешь, чтобы понять. Ты спрашиваешь, чтобы поймать. Я это уже видел.

Он ушёл вниз. Эдриан записал: «спрашивает, чтобы поймать» — так могли бы сказать и про него, и, возможно, уже говорили. Интереснее было другое: Илайас произнёс «каждая семья хранит свою» как человек, который знает не одну. Значит, дома его учили хранить.

До ужина оставалось два часа. Мэйв — нет, она торговала. Илайас — нет, слишком умный, чтобы давать бесплатное. Эдриан пошёл искать Самира.

Тот нашёлся на первом этаже старого корпуса — в комнате, которую Эдриан раньше принимал за кладовую. Внутри оказались стеллажи с папками, ящики с ярлыками и запах пыли, который здесь не считали грязью. Самир сидел над коробкой с фотографиями — держал пинцетом, под лампой, как хирург держит инструмент.

— У тебя работа, — Самир не поднял головы. — Инвентаризация фотографий по описи. Если хочешь мешать — мешай молча.

Через несколько минут Самир выложил на стол групповую фотографию класса за столами, на обороте стояло «1979».

— Здесь тринадцать учеников, — сказал он. — В описи — двенадцать. Один — лишний. Каждый раз, когда я нахожу лишнего, я должен его записать. И каждый раз меня просят объяснить, откуда он взялся.

— И что ты записываешь?

— Что лишний — дефект описи. — Самир положил фотографию обратно. — Я записываю ложь. Красиво, аккуратно, по форме. Это называется «работа по описи».

— Почему ты её не бросишь?

— Потому что эту работу дали мне. И потому что тот, кто делает её вместо меня, сделает её хуже. Хуже — значит, заметнее. Я делаю её тихо.

— Значит, ты не хранишь тайну. Ты её сторожишь.

Самир впервые поднял голову. Эдриан ждал гнева — того, которым встречают вторжение в частное. Гнева не было. Была усталость, и она была хуже гнева.

— Ты очень быстро судишь, — сказал он. — Поторопишься с суждением — останешься без свидетелей. А мне не нужен ещё один человек, который бежит к истине, не проверив, выдержит ли она.

— Ты знаешь про Элиаса Ренна.

Пауза вышла длинной — три удара метронома. Потом Самир вернулся к пинцету.

— Я знаю, что ты задаёшь вопросы, которые здесь не задают. — Он сказал это ровно, как говорят о погоде. — Знаешь, чем кончают такие вопросы? Тем, что потом приезжает человек с портфелем и разговаривает с твоей семьёй. Не с тобой — с семьёй. У нас в семье это уже было. Один раз.

— Что было потом?

— Потом я здесь, — сказал Самир. — А мой отец перевёз семью в другой город. Ты думал, что вопросы — это смелость? Вопросы — это счёт. С кем-то его оплачивают.

— Ты давно здесь?

— С девяти. Девять лет. — Самир положил пинцет. — Сначала пансион, потом описи: работу отца не отдают — её вписывают. Мой первый курс был девять лет назад, и с того же дня я задаю вопросы. Вопросы у меня семейные.

Эдриан молчал, готовя вопрос, — но Самир опередил его:

— Спроси. Я всё равно не отвечу, но тебе легче, если ты спросил.

— Кто чинит описи? Кто решает, что лишний — дефект?

— Не я. Больше в этом здании — никто. Я вписываю в документы ложь, чтобы она не стала правдой где-то ещё. Разницу между «скрыть» и «стереть» ты ещё не понимаешь. Приходи, когда поймёшь.

Он собрал фотографии и закрыл коробку. Разговор был закончен, и Эдриан ушёл.

Вечером — Мэйв.

Он нашёл её в малом актовом зале, где театральное отделение репетировало. Она стояла на пустой сцене с блокнотом и вслух произносила слова роли — тихо, нараспев, для себя.

— Я хочу задать вопрос трём людям. Ты первая. В школе существовал ученик по фамилии Ренн?

Мэйв не вздрогнула и не испугалась. Она кончила фразу, закрыла блокнот ровным движением — и только потом посмотрела на Эдриана.

— Слышишь, как здесь хорошо? — спросила она. — Пустая сцена, отличная акустика. Здесь можно сказать что угодно, и никто не услышит — кроме пустого зала. Я иногда прихожу сюда репетировать признания. Не свои — чужие. Люди боятся говорить правду с живым человеком. А с пустым залом — легко.

— Я не спрашивал про признания. Я спрашивал про ученика.

— А я отвечаю, — сказала Мэйв. — На сцене есть правило: персонаж, который не упомянут в пьесе, не существует. Если его нет в тексте, его нет вообще. В Святой Агате пьесу написали давно, и в пьесе нет места Элиасу Ренну. Значит, Элиас Ренн не существует.

— Так это игра?

— Всё здесь игра. Разница в том, кто пишет текст. — Она встала и подошла ближе. — Тебе нужен ответ, чтобы что? Чтобы кого-то винить? Чтобы спасти? Чтобы стать героем?

— Чтобы не врать самому себе.

— Плохой ответ. Хороший был бы: «чтобы защитить того, кто ещё жив». Тогда бы я подумала. А «не врать себе» — это про тебя. С тобой говорить не о чем.

Она собрала блокнот и пошла к выходу. У двери обернулась:

— Кстати. Раз уж ты спросил. Илайас спрашивал о тебе у куратора. Про твою семью. Просто знай, кто в этом зале сейчас спрашивает про семьи.

Она ушла. Эдриан остался на пустой сцене — с освещёнными стульями и тишиной, которая гудела после репетиции.

«С тобой говорить не о чем» — это была не насмешка. Это был второй сигнал подряд: и Самир, и Мэйв остановили его одинаково — не на тайне, а на нём самом. Оба отказались отвечать не потому, что боялись. Потому что не доверяли его цели. И они были правы: он пришёл за истиной, как приходит за выигрышем — чтобы забрать и унести.

Мэйв знала про Элиаса. Не «слышала» — знала: она дала ответ с готовым текстом, а готовый текст появляется от повторения. Сколько раз ей приходилось отвечать на этот вопрос — и кому?

Вечером он открыл тетрадь и дописал:

8. Уорд. «Каждая семья хранит свою» — произнёс с уверенным тоном. Значит, свою — тоже. «Спрашиваешь, чтобы поймать» — упрёк справедливый. Я использую людей. Пока не заметили — работает. Когда заметят — кончится.

9. Рахман. «Скрыть» и «стереть» — разные глаголы. Он уточняет термины, значит, думал об этом дольше меня. Кто-то платил за молчание его семьи. Если платит и сейчас, Самир не союзник, а часть системы. Проверять медленно.

10. Келлер. Отказ говорить о Ренне — готовый текст. Значит, отвечала на этот вопрос раньше. Она знает автора пьесы. Не сказала — потому что я прошёл мимо проверки «чтобы защитить того, кто жив».

11. Все трое знали имя. Все трое отказались говорить. Молчание здесь — навык. Навык передают. Кто преподаёт молчание — и с какого класса?

12. Илайас спрашивал про мою семью. До семинара Вельского или после? Если после — он собирает материалы. На меня или для меня?

Он закрыл тетрадь и долго сидел, глядя на последнюю строку. Впервые за две недели он написал не вопрос, а оговорку: «проверять медленно». Это было изменение: он начал считать не только чужие слова — он начал считать цену.

За окном в северном крыле ровно в двадцать три погас свет. Эдриан уже не проверял — он записал время и отложил тетрадь. Здесь кто-то дисциплинированнее всех часов в этом здании. И дисциплина — это не характер. Это служба.

Гонка началась. В её конце стояло имя, которого не было в списках. А в начале — возможно, был человек, который когда-то сказал: «Не упоминать на занятиях» — и с тех пор повторял это каждую осень, чтобы никто не забыл, почему это правило существует.

Кому-то это было нужно. Кому-то — слишком нужно.

Глава 6. Закрытая дверь

Свет в северном крыле гас ровно в двадцать три — шесть вечеров подряд, без опоздания и без исключений. Седьмым вечером была суббота, и в двадцать три свет не погас.

Эдриан простоял у окна до половины двенадцатого. За это время тень прошла по стеклу дважды — не так, как проходит человек, направляющийся к выходу, а так, как ходят по комнате, когда что-то ищут и не находят: вдоль, потом поперёк, потом снова вдоль, с остановками у стены, где стояли шкафы. Работающий человек не ходит кругами. Кругами ходит тот, кто потерял что-то важное — и знает, что это важное здесь, но не знает, где именно.

Эдриан не был храбрым. Он был точным, а точность требует реже сверяться со страхом. У него было до понедельника: то, что сегодня ищут в архиве, завтра будут искать уже по-другому — быстрее, лучше и с полным правом. А первым, что найдут, окажется список тех, кто в лицее задавал вопросы. В этом списке Эдриан уже стоял — он просто ещё не знал, каким номером.

Карта коридоров была готова. За неделю он выучил лицей как слепой — по звукам: обход швейцара в двадцать один сорок и в час двадцать; звон стекла в столовой в половине восьмого; скрип третьей ступени чёрной лестницы старого корпуса — на вес человека выше среднего роста. Дверь перехода между корпусами он приоткрывал на ширину ладони, не доводя до скрипа; доски коридоров не скрипят под панелями — скрипит середина, и на середину он не наступал.

Он вышел в десять минут первого — ровно между обходами, — в туфлях на мягкой подошве и в куртке, которую было не жалко. Куртку здесь могли изъять за меньшее, чем присутствие в запрещённом месте.

Чёрная лестница. Семь пролётов — он считал их, чтобы считать не про страх. На четвёртом этаже коридор уходил прямо, в конце стояла дверь архива: дубовая, широкая, с латунной ручкой, которую за все его дни в лицее никто не трогал. Под дверью лежала полоска света — ровная, жёлтая, спокойная, как будто сама дверь не имела отношения к тому, что происходило за ней.

До двери Эдриан не дошёл. Он встал у окна в двадцати шагах и стал слушать.

Сначала был шорох бумаги. Не листание — перебор: так перебирают карточки, ящик за ящиком, сверху вниз, не задерживаясь. Потом шорох кончился, и начался стук — размеренный, металлический, без единой паузы и без единого исправления. В архиве печатала машинка. Тот, кто сидел за ней, знал заранее всё, что напечатает: черновики не звучат так ровно.

Стук кончился так же внезапно, как начался. Тишина. Эдриан считал про себя — не ради времени, ради того, чтобы не слышать собственное дыхание. Потом внутри щёлкнул выключатель — у входа. Через секунду — второй, дальше по коридору. Свет гасили по ходу движения, от двери вглубь, и тот, кто это делал, знал планировку архива наизусть. Не гость. Свой.

Эдриан отступил за выступ лестничной клетки, когда шаги внутри подошли к самой двери. Дуб открылся — в проёме не было света, только темнота коридора встретилась с темнотой архива, и он успел различить силуэт: высокий, в куртке, шаг быстрый и экономный, без лишнего. Дверь закрылась. Раздался скрежет — ключ промахнулся мимо скважины. Вторая попытка — короткий щелчок, замок закрылся. Человек ушёл в сторону парадной лестницы, и шаги его затихли так же ровно, как начинались.

Эдриан ждал в нише, прижавшись к стене, ещё две минуты — на случай, если кто-то из двоих вернётся. Потом прошёл к двери.

Царапина на косяке была там, где он её слышал: светлая, тонкая, у самой скважины, по краю ещё блестящая. Так оставляет след ключ, промахнувшийся мимо скважины в темноте. Хозяин замка попадает вслепую, не глядя и не царапая. Ночью в архиве был чужой — и попал со второй попытки.

Эдриан приложил палец к ручке. Металл был тёплый. Ручку держали в руке минуту назад.

Через десять минут по коридору прошёл луч фонаря. Эдриан уже стоял в нише — теперь он знал, где она. Швейцар посветил по углам, задержался на двери архива, пробормотал что-то со словом «четвёртый» и словом «чисто» — и спустился вниз. Обход был обязанностью швейцара и документом для лицея: три контрольные точки, все — в холлах, всё чисто. Ритуал устроен так, что его может пройти и осёл; осёл здесь не нужен — ритуал нужен.

Уходя чёрной лестницей, на втором этаже Эдриан остановился. На полу, в пыли, которую здесь не вытирали неделями, тянулась полоса. Шириной с подошву, длиной около метра. Не отпечаток — след волочения: кто-то нёс что-то тяжёлое и мягкое, прижимая к полу. Направление читалось по заусенцам в пыли: от чёрной лестницы — к переходу, в сторону студенческого корпуса. Эдриан не тронул след. Он запомнил точку — щель в плинтусе в ладони левее, — чтобы утром измерить время по пыли: она оседает заново за сутки.

Утром он пришёл в библиотеку к открытию. Ансель уже зажигала лампы и, не дожидаясь вопроса, сказала:

— Здание было заперто всю ночь. Сторож обходил корпуса в час двадцать и в шесть утра. По журналу — всё чисто. Архив заперт, ключ на месте.

— По журналу или по факту?

Ансель подняла глаза — медленно, с усилием человека, который приберегает терпение для чего-то важного.

— Слушайте внимательно, Коул, потому что повторять я не буду. Свет, который вы видите в окнах, — дежурное освещение. Оно горит по расписанию, и расписание знаете вы в последнюю очередь. Если вам мерещатся тени — это ваши тени, и с ними вы будете жить дальше.

— Вчера в двадцать три свет погас, — сказал Эдриан. — Сегодня горел до полуночи. Расписание не меняется. Меняются люди.

Ансель молчала ровно столько, сколько нужно, чтобы решить, что говорить дальше. Потом — впервые за все их разговоры — без готовой фразы:

— Уйдите. — И, когда он дошёл до двери, добавила: — Ящик «Р» я отперла. Он открыт. Можете проверить свою шутку ещё раз. Она там же, где была.

По дороге в столовую его перехватил швейцар — тот самый, из первых дней, с серой курткой, которая всегда висела на нём, как вешалка, а не как одежда.

— Ты рано, — сказал он. — Библиотека открывается в восемь. В шесть утра тебе там нечего было делать.

— Проверял тетрадь по истории. Хотел вернуться, если что-то забыл.

— В библиотеке не проверяют тетради. Там проверяют книги. — Швейцар посмотрел на его обувь. Туфли были чистые. Эдриан заметил, что смотрит швейцар не на подошву — на шнурки. — Завязывают узлом не так, как ходят в библиотеку. Тот, кто ходит тихо, не завязывает вовсе.

Он отвернулся и пошёл дальше, и Эдриан не понял, услышал он предупреждение или признание. Человек, который знает, как завязывают шнурки те, кто ходит ночью, — либо сам ходил, либо ночи эти ему видели из своей комнаты.

Ящик «Р» действительно стоял открытым: замок лежал сверху, целым, с ключом, вставленным со стороны, с какой замок запирают изнутри — от себя, а не от чужих. Эдриан перебрал ряд «Р» до конца. Между «Реми» и «Рокфеллер» оставалась пустота ровно в одну карточку, и за неделю пыль легла на это место неравномерно: полоска там, где стояла карточка, была чуть темнее соседних. Каталог хранил след отсутствия так, как хранят след вынутой книги: не заполнять, не заделывать — оставить, чтобы тот, кто придёт искать, знал, что искать было что.

Вечером Эдриан открыл тетрадь и записал:

13. Архив ночью: машинка, ровный стук без исправлений. Текст не писали с черновика — он уже существовал, в голове или в другом месте.

14. Чужой ключ. Царапина на косяке, вторая попытка, тёплая ручка. В архиве есть свой и есть чужой. «Свой чужой» — это проверка меня. «Чужой свой» — это проверка архива. Разница важнее, чем кажется.

15. Человек вышел за десять минут до фонаря. Не потому что закончил работу — потому что знал время обхода. График швейцара кому-то известен лучше, чем самому швейцару.

16. Швейцар сказал «четвёртый — чисто» в коридоре, где я стоял. Он не проверяет — он отчитывается. Журнал и факт — разные документы. Утром он смотрел не на меня — на мои шнурки. Человек, который знает, как ходят по ночам, либо сам ходит, либо ночи ему видны из его комнаты.

17. Ансель. Впервые ответила без заготовки — «уйдите». Она знает про свет и про карточку. Отперла ящик и сама сообщила мне об этом. Зачем? Либо чтобы я перестал искать, либо чтобы искал быстрее. Выбор между этими двумя версиями — выбор того, кому она служит.

18. Полоса волочения в пыли у перехода. Кто-то нёс тяжёлое и мягкое. Направление — к студенческому корпусу. Время — до меня или после меня. Утром проверю: если полоса свежая, это было этой ночью, рядом со мной.

Он закрыл тетрадь и подумал о том, чего не записал. Если в лицее есть кто-то, кто открывает запертое и запирает открытое, кто превращает обход в журнал и свет — в расписание, то его тетрадь — единственный документ в этом здании, который нельзя подменить задним числом. Пока её не найдут.

А что её будут искать, он знал теперь наверняка. Он сам видел, как это делается: сначала перебор, потом машинка, потом темнота, чужой ключ и точный расчёт чужого фонаря.

Глава 7. Профессор Вельский

Эдриан заметил, что за ним следят, во вторник — через двадцать дней после находки карточки и за три дня до семнадцатого октября.

Он не знал пока, кто следит, — он знал, как. Наблюдение выдаёт себя одинаково всюду, где его поставлено плохо: человек, который идёт за тобой, появляется в поле зрения ровно тогда, когда ты сам оборачиваешься. Значит, он ждёт твоего оборота. Эдриан стал проверять: трижды за день он оборачивался без причины — в первый раз в коридоре напротив было пусто, во второй — у окон стояла девочка с часами, в третий, вечером у столовой, — никого, но дверь подсобки, которой он прежде не замечал, была приоткрыта на ширину ладони.

Он не стал ставить опыты, которые выдадут, что проверки заметили. Наблюдатель, которого узнали, перестаёт быть наблюдателем и становится проблемой, которую решают. Эдриан записал в тетрадь: *«Меня провожают. Смена наряда нерегулярна, из чего следует: дежурство неслужебное, любительское либо полулегальное. Взрослые следят по расписанию».*

Вельский нашёл его сам — в четверг, после семинара о тридцатых, когда Эдриан задержался дописать конспект.

— Коул. Пройдёмся.

Они вышли в боковой коридор старого корпуса — тот, что вёл к чёрной лестнице. Вельский шёл быстро, как человек, у которого маршрут отрепетирован, и говорил, не оборачиваясь:

— Ты нашёл в каталоге карточку. Белую, со свежими чернилами. Мне это сказала не Мэйв Келлер — мне это сказала сама Ансель, которая не любит, когда я знаю больше, чем положено профессору. Вопрос не в карточке. Вопрос в том, что ты с ней сделал.

— Сказал Ансель. Она сказала — шутка. Я не спорил.

— И это всё?

— Всё, — сказал Эдриан. — Кроме того, что я записал даты. Зачисление — сентябрь девяносто шестого. Смерть — семнадцатое октября девяносто восьмого. До семнадцатого октября этого года — сутки. Я не верю в совпадения, которые совпадают с датами.

Вельский остановился. Постоял. Потом повёл его дальше — к окну в конце коридора, за которым начинался двор, а за двором — часовня, крытая тёмной черепицей.

— Слушай меня внимательно, потому что второй раз я этого не скажу. Семнадцатого октября в этом лицее ничего не произойдёт. Это первое. Второе: карточки в каталоге делают люди. Бумагу покупают, машинки заправляют лентой, ящики отпирают ключами, которые можно скопировать. Всё, что ты увидишь и найдёшь, можно объяснить руками. — Он сказал это ровно, как говорят формулу, которую повторял много лет. — И третье. Если однажды в каталоге появится моя карточка — с моим именем и моими датами, — ты не должен её стирать. Что бы тебе ни обещали, ни грозили и ни объясняли.

— Почему?

— Потому что стёртую карточку нельзя вернуть. — Вельский смотрел в окно, не на Эдриана. — Всё остальное можно восстановить: документы, показания, даже память — люди вспоминают, если их правильно спросить. А стёртое имя не вспоминается ни при каком вопросе. Я видел это однажды. Один раз, много лет назад, и мне хватило.

— Что вы видели?

— Я видел человека, который вышел из комнаты, где его только что убедили, — Вельский подбирал слова медленно, как подбирают камни на плоском берегу, — и на следующий день не смог вспомнить лица человека, которого любил. Он помнил, что любил. Он не помнил кого. В его памяти стояла выемка — ровная, аккуратная, как след от карточки в ящике. — Он повернулся. — Ты не поверишь в сверхъестественное. И хорошо: не верь. Верь тому, что я видел выемку. Неважно, кто её вырезал — люди или что-то, чем пользуются люди.

— А если карточку не стереть? Если имя вписать заново?

У Вельского дёрнулся угол рта — не улыбка, не гримаса, что-то между.

— Тогда имя станет «назначенным». В архивах такое называют закрыть позицию. Когда-то здесь решали, кого назначить свидетелем, и назначали письменно. Карточка — это приказ, который не требует подписи. — Он посмотрел на часы, которых не носил, на пустое запястье, и Эдриан впервые подумал, что часы сняты не по небрежности. — Иди. И вот ещё что. Если к тебе подойдёт человек и скажет, что я просил тебя что-то принести, подписать или показать, — я не просил.

— А если это будете вы?

— Я скажу тебе то, что сказал бы я — и чего подмены не смогли бы повторить, — Вельский помолчал. — Твой вопрос на первом семинаре был о южной лестнице. Если я когда-нибудь попрошу тебя о чём-то, я начну с южной лестницы. Любая другая просьба — не от меня.

Он ушёл по коридору — быстро, беззвучно, как уходят люди, которым ходьба досталась не по росту, а по привычке.

Вечером Эдриан сидел в комнате и разбирал разговор. Странность была не в предупреждениях — предупреждения укладывались в картину: Вельский знал о карточке и ждал последствий. Странность была в другом.

Вельский говорил так, будто уже примерял собственную карточку. «Если однажды появится моя» — не «если появится», а «если однажды». Человек, который примеряет свою смерть, либо болен, либо боится, либо готовится. И всё-таки самой тяжёлой была не просьба. Просьба была логична: не стирай моё имя. А вот интонация — нет. Он просил не как о защите. Он просил как о похоронах.

Эдриан открыл тетрадь.

19. Вельский знает про карточку больше, чем говорит. Говорит о руках — но просит беречься того, чего руками не объяснишь. Значит, сам не решил, во что верит, — или решил, но не хочет, чтобы я верил за него.

20. «Стёртое имя не вспоминается». Проверяемая гипотеза. Если каталог действует — кто-то в этом лицее уже стёрт, и стёрт давно. Ищи выемку не в каталоге. Ищи её в памяти людей. Где память рвётся на ровном месте — там стёрли.

21. Пароль «южная лестница». Он помнит мою ошибку на семинаре лучше, чем я сам. Люди запоминают то, что им дорого. Я — дорог. Это или хорошо, или уже поздно.

22. До семнадцатого октября — сутки.

В четверг ночью, возвращаясь из библиотеки, Эдриан нашёл у себя в сапоге записку. Не в сапоге — в голенище, когда он переобувался после обхода двора, куда выходил смотреть на часовню. Бумага была офисная, сложенная вчетверо, почерк — печатными буквами, ровный, будто писали неспешно.

«Ты задаёшь вопросы, на которые уже отвечали. Ответы не изменились. Изменились те, кто на них отвечал. Спроси у него про «Ренн-2» — и оставь архив в покое, пока не поймёшь, что сторожишь».

Ни подписи, ни обращения. Эдриан перечитал записку трижды. Первое: его читали — и читали давно: иначе бы не знали, что он спрашивал про ответы. Второе: «Ренн-2» — обозначение, которое использовали в документах, а не в разговоре. Значит, писавший видел бумаги. Третье: «оставь архив в покое» — не просьба и не угроза. Это совет того, кто знает, чем кончаются такие вопросы, и не хочет, чтобы Эдриан стал следующей строкой в чужой тетради.

Он не был уверен, кому верить. Он не был уверен даже в том, что записку написал человек, а не оставили для него — как приманку, как крючок с «Ренн-2» вместо червя. Но крючок тоже информация: на кого-то он рассчитан, и расчёт можно просчитать.

Утром в пятницу Эдриан сделал то, что считал правильным, — и правильным это было лишь отчасти. Он отнёс записку Вельскому.

— «Ренн-2», — сказал он и протянул бумагу.

Вельский прочёл её молча, один раз. Лицо у него не изменилось — но изменились руки: он сложил записку не так, как складывают чужую бумагу, а так, как складывают знакомую — по старой линии сгиба, которая уже была на этом листе.

— Где ты её нашёл?

— В сапоге. В ночь на пятницу. Кто-то был у меня в комнате, пока я не спал, или сунул раньше — когда я переобувался. Я не заметил, что произошло. Это меня пугает меньше, чем то, что я мог не заметить вообще ничего.

— «Ренн-2», — повторил Вельский и положил записку в карман, не комкая. — Это внутренняя пометка. Так в архиве обозначают неопознанные дела: фамилию, за которой нет установленного лица. «Ренн-1» — тот, кого знали. «Ренн-2» — тот, кого не установили, но хотели бы.

— Значит, Элиас Ренн — не единственный?

— Значит, Элиас Ренн — не тот, кем кажется, — сказал Вельский. — Он либо не существовал, либо существовал под другим именем. А «Ренн-2» — вторая запись под тем же корнем. Кого в неё вписали — бумаги не называют: я видел выписку по строке, списка у меня нет. Строку держат — по ней идут выплаты. Значит, кто-то назначен. И, возможно, он уже ходит по этим коридорам. — Он выдержал паузу. — Ты спрашивал, кого я видел тогда, в выемке памяти. Я не отвечал. Отвечаю теперь, потому что время пошло: я видел не чужое лицо. Я видел своё — в записях, которые мне не должны были показывать. Меня стёрли из одного документа, Коул. Не полностью — наполовину. Так, чтобы я мог ходить и учить, но не мог бы сказать, что был в том списке. Понимаешь теперь, почему я не ношу часов?

— Не понимаю.

— Потому что время здесь меряют не часами, — сказал Вельский. — Его меряют бумагой. А бумага здесь лжёт с большим стажем, чем любой из нас.

Он вернул записку — или, скорее, оставил её себе, Эдриан не понял, — и сказал, уже спиной:

— Не приходи ко мне в пятницу вечером. Я буду занят. И если в понедельник ты не увидишь меня на семинаре — не ищи меня в лицее. Ищи там, где я сказал бы искать, если бы мог сказать. Ты умный. Ты догадаешься.

— А если догадаюсь — что делать?

— Не стирать, — сказал Вельский, не оборачиваясь. — Что бы ни случилось.

Глава 8. Запертый кабинет

Эдриан не пришёл к Вельскому в пятницу вечером.

Он держал слово — и держал себя за руки, чтобы не сорваться: в семь вечера он дважды встал с кровати, дошёл до двери и вернулся. «Сегодня вечером я буду занят» — это было сказано спокойно. Эдриан лег и долго слушал северное крыло. Свет там не загорался. Тишина вышла ровная — и оттого неправильная: четыре ночи подряд что-то в архиве работало, а теперь ничего. Ровно перед той датой, о которой предупреждала белая карточка.

В понедельник утром он проснулся раньше будильника и понял это не по часам, а по звуку: под окнами не было шагов. Потом шаги были — много, быстрее обычного, в одну сторону, к старому корпусу. Никто не бегает в лицее в понедельник утром. Бегают, когда расписание перестало быть главным.

В холле старого корпуса он увидел сначала секретаршу — она держала телефонную трубку обеими руками, как держат что-то тяжёлое и не знаешь, куда положить. Потом увидел куратора третьего курса: тот стоял у лестницы и не пускал наверх никого. Потом понял, что наверху — кабинет Вельского, второй этаж, последняя дверь с окнами во двор.

— Коул. — Илайас Уорд оказался рядом так бесшумно, что Эдриан вздрогнул. — Не ходи туда. Что бы ты ни придумал сейчас — не ходи.

— Что случилось?

— Профессора Вельского больше нет.

Слово «умер» Илайас не произнёс. Это было тоже сообщение — о том, каким словом это уже назвали.

Официальную версию Эдриан услышал к обеду, от куратора, в аудитории, где сидели первокурсники и где никто не плакал: плакать было нельзя — не запретом, традицией. Профессор Вельский скончался в ночь с пятницы на субботу. Сердце. Он работал допоздна, кабинет был заперт изнутри, дверь вскрыли в воскресенье днём, когда профессор не вышел к обеду с семьёй. Несчастный случай. Занятия по истории отменены до конца недели. Вопросы — не задавать.

Воскресенье в этом доме не день для новостей — это единственный день без расписания, а новости здесь ходят по расписанию, как всё остальное. В воскресенье днём дверь вскрыли трое: секретарь, куратор и человек, которого никто не назвал. Тело увезли в воскресенье вечером — тихо, грузовой лестницей, и об этом не объявляли, потому что не для кого было объявлять: у дома не было семьи, к которой можно было прийти. Дверь опечатали до понедельника — печать ставит тот, кто приедет с описью, а опись не работает в воскресенье. Ученикам сказали утром понедельника — не потому, что не знали раньше, а потому что объявление заняло своё место в расписании недели: понедельник — день, когда дому о чём-то сообщают.

Эдриан слушал и считал. Вскрытие двери — воскресенье днём. Свет в кабинете Вельского он видел сам, в пятницу вечером: профессор стоял у стола над бумагами. Значит, в пятницу он работал до самой ночи. Значит, кто-то видел его в ту ночь — и этого кого-то пока никто не спросил.

«Сердце» объясняло всё, кроме одного: карточку.

О ней Эдриан узнал к вечеру — тем же способом, каким узнавал всё в этом лицее: по тому, о чём молчали громче, чем говорили. Мэйв Келлер нашла его у входа в столовую и, впервые за все их разговоры, не улыбнулась.

— Говорят, на его столе лежала карточка из каталога, — сказала она тихо. — С чьим-то именем. Говорят, директор забрала её лично и лично заперла в своём сейфе. Говорят — потому что официальной версии о карточке нет. Официально её не было. Понимаешь? Не было уже в воскресенье утром, до вскрытия двери.

— Откуда ты это знаешь?

— Мне сказала убирающая в северном крыле. Ей сказала горничная директора. Горничной сказала... неважно. — Мэйв смотрела в пол. — Я собираю слухи восемь лет, я живу в этой школе дольше, чем ты живёшь в любой из своих. И я тебе скажу то, что скажу немногим: слухи здесь никогда не врут. Они только врут о том, кто их пустил. — Она подняла глаза. — Чьё имя было на карточке, Эдриан?

— Я не знаю.

— Врать мне не надо, я всё равно проверю. Но если ты не знаешь — спрашивай у того, кто знает. Только не у взрослых. Взрослым уже сказали, чего для них не было.

Она ушла, и Эдриан остался с фразой «чего для них не было» — лучшей формулировкой страшного, которую он слышал здесь за месяц.

Вечером он сделал то, чего от него ждали меньше всего: подошёл к швейцару.

Тот сидел в своей будке у парадного входа и грел руки о кружку. Услышав фамилию, поднял голову — и в первый раз посмотрел на Эдриана без готового выражения.

— Вы были в здании в пятницу вечером, — сказал Эдриан. Не вопрос.

— Я тут каждый вечер.

— Вы видели профессора Вельского?

Швейцар пил чай — долго, глоток за глотком, пока решал. Потом поставил кружку.

— Видел. В восемь десять он шёл к северному корпусу. С портфелем. И был не один.

— С кем?

— Не разглядел. Тёмный плащ, перехваченный поясом. Выше его на полголовы. Они вошли в парадную дверь вместе, а я в журнале записал одного. — Швейцар посмотрел на кружку. — Одного — потому что второго, выходит, не было. А не было второго — потому что его не вписали. Я записал то, что видел, один раз в жизни. Одиннадцать лет назад. После этого меня вызвали и спросили, что я пил. С тех пор я записываю то, что должен записать. Понимаешь, в чём разница?

— Понимаю, — сказал Эдриан. — Почему вы говорите мне это сейчас?

— Потому что в понедельник ночью из архива выносили что-то тяжёлое. — Швейцар сказал это ровно, не понижая голоса, и в ровности была страшная уверенность человека, который ждал этого разговора. — И потому что профессор был единственным, кто со мной поздоровался в этом здании по имени. За одиннадцать лет. Дальше — сам. Ты умный. Ты догадаешься.

Он снова взял кружку. Разговор был закончен — так, как здесь заканчивали всё: не раньше и не позже, чем было нужно.

В комнате Эдриан открыл тетрадь. Рука не дрожала. Это было хуже всего: он ждал, что будет дрожать, и считал себя обязанным дрожать, а рука была спокойна, потому что уже работала.

23. Вельский умер вночь с пятницына субботу. Илайас сказал «профессора больше нет» вместо «умер» — значит, слово уже выбрано кем-то сверху и разослано вниз. Официальная версия собрана быстрее, чем умер человек. Скорость — это признак готового документа.

24.В пятницу, 17 октября, Вельский шёл к северному корпусу с портфелем и не один. По Вельскому, «Ренн-2» — вторая запись под тем же корнем; кого в неё вписали — не названо. Он ждал, кто выйдет из строки в имя. Я не знаю, о чём они говорили. Я знаю, что портфель был: в него кладут не бумаги для чтения. В него кладут бумаги для передачи.

25. На столе — карточка с чьим-то именем. Директор забрала её до вскрытия. Значит, в кабинете были до вскрытия. Значит, «заперто изнутри» — правда, удобная ровно настолько, насколько удобно, чтобы внутри никого не искали.

26. Швейцар видел второго человека одиннадцать лет назад — и был призван к ответу. Значит, система, которая убирает лишних свидетелей, не новая. Она работает дольше, чем я живу.

27. «Если в каталоге появится моя карточка — не стирай». Вельский сказал это в четверг. В пятницу его не стало.Вопрос, который я не успел задать: он просил защитить своё имя — или знал, что его имя уже назначили?

Он перечитал и понял, что самая важная строка не записана. Он дописал:

28. Он запретил мне пятницу.Я послушал запрет — и не пришёл. Если бы я пришёл, я был бы там в ночь его смерти. Я не знаю, спас бы я его. Я знаю, что не проверил.

Эдриан закрыл тетрадь и сел к окну. Северное крыло темнело ровно, как всегда. Ровно в двадцать три — ни минутой раньше — нигде не погас ни один свет: нечему было гаснуть, тот, кто работал ночами, либо закончил, либо больше не нуждался в свете.

Тогда он подумал о том, о чём не хотел думать: карточка на столе у мёртвого профессора могла быть предупреждением — или счётом. Каталог свидетелей, о котором говорил Вельский, назначал тех, кто видел лишнее. Вельский видел лишнее всю свою жизнь. Если система была честна к себе, его карточка должна была появиться много лет назад.

А на столе лежала карточка с чьим-то другим именем — с именем ученика. Значит, на место свидетеля уже кого-то назначали. Вопрос был только в том, кто держал ручку.

Эдриан дописал последнюю строку — и она вышла не про метод, не про факты, а про то, что человек, который умеет отличать ошибку от лжи, обязан теперь уметь ещё кое-что: жить с тем, что проверять он будет медленно, а умирать здесь умели быстро.

29. Бумага здесь лжёт — значит, время меряют не ею. Время теперь меряют по мне: у меня есть столько, сколько нужно, чтобы найти карточку со следующим именем. До этого момента все живы. После — неизвестно.

Глава 9. Первый свидетель

Официально Эдриан опрашивал никого. Он просто разговаривал — с однокурсниками, со старшими, с теми, кто стоял в коридорах там, где стоять было не запрещено. Разговор в Святой Агате не требовал разрешения; требовала его запись, и Эдриан записывал всё — но не в тетрадь, которую носил с собой, а в память, которую нельзя было изъять.

Первым в списке стоял Хуан Беккер — ученик третьего курса, дежуривший в пятницу вечером в старом корпусе. Дежурство давало право на ключи от парадной двери и обязанность жить в этом праве: записывать, кто входил и когда выходил.

Беккер сидел в общей комнате и резал колоду — шульцевал карты, не играя, чисто ради звука.

— Пятница, — сказал Эдриан, садясь напротив. — Ты был на дежурстве.

— Был.

— Профессор Вельский вошёл в корпус?

— Вошёл.

— Во сколько?

— У тебя нет права на дежурный журнал. Пусть даже куратор тебе его показывает, но он ему покажет уже после того, как впишет то, что положено.

— Я не прошу журнал. Я прошу память. Журнал — бумага. Ты — человек, и ты видел Вельского своими глазами.

Беккер положил колоду. Это было не согласие — это была пауза, в которой человек решает, сколько продаст и за что.

— Я видел его в восемь двадцать. Он вошёл со своим портфелем и прошёл в северное крыло. Я не записал — а что записывать? Профессора не записывают.

— Кто-то был с ним?

— Не было. Я видел одного.

— В восемь двадцать? — Эдриан не менял интонации. — Точно?

— Точно.

— А в восемь десять?

— Что в восемь десять?

— То же самое. Ты был за столом дежурного. Стол стоит у окна. Окно выходит на парадную дверь. В восемь десять у двери стояли двое — профессор и человек в тёмном плаще, перехваченном поясом. Профессор не мог войти, потому что дверь открывали со стороны дежурного, и он ждал. Это длилось секунд двадцать. Ты смотрел в свои карты. Потом профессор вошёл. Один — потому что человек в плаще вошёл следом, когда открылась дверь, и ты не успел бы его разглядеть, даже если бы смотрел.

Беккер молчал. Эдриан дал ему молчать — так, как учил Вельский: не дожимать, а ждать, пока человек сам достроит то, что собирался недоговорить.

— Дверь открывали со стороны дежурного, — повторил Беккер наконец. — Откуда ты это взял?

— Из наблюдения. Дверь тяжелая. Вельский держал портфель в правой руке, а дверь тянет на себя — значит, он ждал того, кто её откроет. Он стоял бы сейчас у дверей, если бы дежурный был на месте. Дежурный не был на месте. Значит, дверь открыл кто-то другой — а этот кто-то тоже был у двери. Скажи честно: ты отходил в восемь десять?

— Я отходил, — сказал Беккер. — На минуту. Звонил из телефона-автомата. Восемь ноль пять — восемь пятнадцать.

— Кому звонил?

— Весте. — Беккер сказал имя так, как говорят имя, за которое стыдно перед зданием. — Девочке с четвёртого курса. Это не входит в дежурство, но я был там.

— Значит, в журнале за пятницу на десять минут есть дыра — и ты знаешь, что она там. — Эдриан встал. — Ты не виноват. Но дыра есть. И кто-то из тех, кто знает про дыры, мог ей воспользоваться.

Он вышел, не дожидаясь ответа. Договаривать за человека — плохой способ опроса; лучше оставить его с собственной дырой наедине, чтобы она доросла до совести раньше, чем до осознания того, кому её выгоднее продать.

Вторым был Питер Олсен — преподаватель физкультуры, в пятницу вечером возвратившийся из города. Третьей — уборщица северного крыла, женщина с обгоревшими руками и именем, которое никто здесь не знал. Четвёртым — Илайас Уорд, и этот разговор Эдриан откладывал дольше всего, потому что понимал: он будет самым коротким и самым важным.

— Пятница, — сказал Эдриан. — Ты видел Вельского?

— Нет, — сказал Илайас ровно.

— Ты был в старом корпусе?

— Нет.

— Ты разговаривал с кем-то из тех, кто был?

— Слушай меня внимательно, Коул, потому что я скажу это один раз. — Илайас сел напротив — как садился в библиотеке, с руками, разложенными на столе. — Ты ведёшь список. Ты опрашиваешь. Ты строишь версию. Я знаю, чем это кончается: кончается тем, что невинного человека называют виноватым, потому что версия требует виноватого. Я не буду элементом твоей таблицы. Поймай убийцу — поймай. Но не надо строить его из тех, кто тебе не нравится. Ты сейчас строишь из всех, кто молчит. А молчат здесь все — по разным причинам, и не потому, что убийца один из нас.

— А по каким?

— По тем, которые тебя не касаются. — Илайас встал. — И одно последнее. Если твоё расследование дойдёт до Мэйв Келлер, — а оно дойдёт, потому что она не умеет молчать, — запомни: я её прикрываю. Не потому, что она виновна. Потому что она слабее тебя, а ты — нет.

Он ушёл. Эдриан остался сидеть и подумал, что Илайас сказал больше, чем собирался: он знал, что расследование дойдёт до Мэйв. Знать траекторию чужого расследования мог только тот, кто либо сам его вёл, либо следил за тем, кто ведёт.

Вечером Эдриан сел к столу и развернул листы. На чистом листе он вычертил таблицу — как вычертил её однажды на четырёх листах Вельского, только теперь колонок было больше. Слева направо: имя. Где был в пятницу с 19:00 до 7:00. Что видел. Что говорит. Что должен говорить, если говорит правду. Расхождение.

С Беккером расхождение было чистое: журнал молчал десять минут, память — двадцать секунд. Уборщица северного крыла сказала, что в субботу она ушла в девять и коридор второго этажа был пуст, «как всегда в субботу». «Как всегда» — это не память, это привычка; привычкой отвечают тогда, когда не хотят вспоминать. Олсен вернулся в двадцать три сорок и утром утверждал, что в восемь двадцать он был ещё в автобусе, — Эдриан проверил расписание: рейс приходил в двадцать ноль пять. Олсен врал или ошибся. Разницу Эдриан пока не знал, но записал оба варианта.

А потом он дошёл до последней строки — и не знал, что в неё писать.

Илайас Уорд. Где был — не сказано. Что видел — не сказано. Что говорит — «не был». Что должен говорить, если говорит правду — неизвестно. Расхождение — невозможно посчитать.

— Слушай меня внимательно, — звучало в памяти, слово в слово, без середины: память бережёт концы фраз. — Я скажу это один раз. Если твоё расследование дойдёт до Мэйв Келлер

— запомни: я её прикрываю. Не потому, что она виновна. Потому что она слабее тебя, а ты — нет.

Эдриан смотрел на пустую ячейку и понимал, что пустая ячейка — это тоже показание. Показание того, кто не собирается давать показания. В комнате, где все лгут, «не отвечу» — самый дорогой ответ.

Он закрыл таблицу и открыл тетрадь.

30. Беккер: десять минут дежурного журнала пусты. Дыра закономерна — дырами пользуются, а не их создают. Вопрос не «кто вошёл», а «кто знал, что дежурный отойдёт». Знать могло четверо: сам Беккер, тот, кто послал звонить, тот, кто следит за дежурствами, и тот, кто составил график.

31. Уборщица: «как всегда в субботу». Привычка — не память. Она не врёт — она повторяет. Значит, её показание нельзя использовать, но нельзя и отбрасывать: привычка сохраняет то, что память выбрасывает. Вернусь к ней с другим вопросом — не о том, что было, а о том, что было не так.

32. Олсен: расхождение с расписанием на два часа. Два часа можно и проехать, и проимитировать. Имитация требует билета — ищу билет или тому, кто его видел.

33. Уорд: отказ. Отказ — показание. Но чьё? Он знает, что расследование дойдёт до Мэйв. Откуда? Либо он следит за мной, либо за ним следят, и ему сказали. Второе страшнее: значит, существует кто-то, кто читает мои движения раньше, чем я их делаю.

34. В таблице одна пустая ячейка. Пустые ячейки — это самые честные места в документе: их нельзя фальсифицировать, только оставить. Тот, кто оставил её пустой, либо боится заполнить, либо ждёт, что заполню я. В обоих случаях — он смотрит на меня.

35. Срок. Карточка появилась за 23 дня до 17 октября. Смерть Вельского — 17 октября. Если у системы есть цикл, следующий ход будет не скоро. Если у неё нет цикла — следующая карточка появится тогда, когда появится следующая угроза. Мой список, моя таблица и мои разговоры — тоже угроза. Я — угроза.

Он закрыл тетрадь и подумал о том, что таблица получилась правильная — и бессмысленная. Правильная: все расхождения были настоящими, все дыры — настоящими. Бессмысленная: она отвечала на вопрос «кто врал», а нужно было ответить на вопрос «кого в этот вечер не было там, где он должен был быть». Тот, кто был в кабинете той ночью, не врал. Он был занят — и потому не попадал ни в чьи свидетельства.

Ложь искать не имело смысла. Ложь — это то, что говорят на допросах и записывают в таблицы. Правда в эту ночь была там, где её никто не озвучивал: в дыре дежурного журнала, в привычке уборщицы, в пустой ячейке Илайаса Уорда и в тёмном плаще, который зашёл следом за профессором и исчез в здании, где не было никого, кроме тех, кто должен был его не увидеть.

Эдриан свернул таблицу и сунул её в конверт. Конверт — в тетрадь. Тетрадь — под подушку.

Он погасил лампу и долго слушал здание. Здание молчало — но это было не то молчание, которое бывает в пустом доме. Это было молчание, в котором кто-то сидел и слушал так же внимательно, как он.

Глава 10. Не несчастный случай

К концу второй недели официальная версия обросла деталями и перестала нуждаться в защите: сердце, запертая дверь, несчастный случай. Три фразы повторяли так спокойно, что они стали звучать как сводка погоды — у погоды, в отличие от смерти, не спрашивают о причинах.

В кабинете Вельского теперь шёл «модуль истории и документов». Вёл его молодой преподаватель Гросс, читавший тридцатые годы по чужим конспектам. Он произносил фамилию Вельского в прошедшем времени, не сбиваясь, — и Эдриан понял, что это не бесчувственность, а выучка: этому человеку правила объяснили раньше, чем показали аудиторию.

«Новый преподаватель — единственный взрослый, кто не задаёт вопросов, — записал Эдриан в тетрадь. — *Не потому, что не хочет. Потому что ему назвали цену. Здесь молчанию учат всех, и студентов, и преподавателей. Курс один на все возрасты»*.

Самир пришёл к нему сам — на двенадцатый день. Это не ложилось в картину: Самир не доверял ему, отмерял слова, избегал разговоров — и вот он стоял на пороге комнаты в вечерний час, когда коридор пустел, с папкой под мышкой.

— В архиве ведётся журнал выдачи ключей, — сказал он, не здороваясь. — Я его веду. Каждый ключ числится против подписи.

— Садись.

Самир не сел. Он открыл папку, выложил на стол лист — копию страницы журнала, переписанную его рукой, ровным архивным почерком.

— Ключ номер четырнадцать. Универсальный ключ северного корпуса: им открывали архив и кабинеты. Выдан в августе девяносто восьмого. В журнале стоит отметка «возвращён». Возвращён не был — я проверил по трём описям. Двадцать семь лет он числился утерянным. На этой неделе вернулся.

— И заметь: у номера четырнадцать в журнале две строки выдачи, не одна. Вторая — за семнадцатое октября: «выдан на руки», и имя в строке не читается. Зачем дому вторая выдача — не знаю. Я веду этот журнал девять лет: это первая страница, которую я не могу дочитать до конца.

— Где?

— На столе у Вельского. — Самир произнёс это ровно. — Когда вскрывали кабинет, кроме карточки нашли ключ. Не от кабинета — опознали по номеру. Администрация назвала это «случайностью в описи». Ключ изъяли и завели новую опись: «найден в кабинете профессора при вскрытии». Подпись — секретарь. Дата — воскресенье.

— И всё?

— Нет. — Он положил второй лист. — Царапина на косяке архива. Я проверил замок. Царапина свежая — от ключа, попавшего со второй попытки. Замок архива — тот же тип, что на кабинетах северного корпуса. Четырнадцатым раньше открывали всё. Значит, тот, кто был в архиве той ночью, тем же ключом мог быть и в кабинете Вельского. В любую ночь.

— Или ключ на столе — не орудие, а послание, — сказал Эдриан. — Мёртвому ключ не нужен. Вещь, положенная на видное место рядом с карточкой, — это текст. Его оставили, чтобы прочли.

— Я знаю, что это текст. Поэтому я здесь. — Самир помолчал и договорил: — Двенадцать дней я решал, приходить или нет. Взвешивал, как взвешивают в архиве. Если Вельского убили, следующий ход — по тем, кто задаёт вопросы. Я задаю вопросы с первого курса. Я уже один раз оплатил счёт за вопросы — всей семьёй. Второй раз платить не хочу.

— Тогда почему пришёл?

— Потому что ждать всё равно придётся платить. Позже и дороже. — Он закрыл папку. — Я не твой союзник, Коул. Я в союзников не верю. Я союзник на время — пока наши счёта совпадают. Сейчас совпадают. Всё.

— Достаточно, — сказал Эдриан. — И моё условие: если скажешь «остановись» — я остановлюсь. Без спора.

Самир впервые за вечер посмотрел на него дольше секунды. Кивнул и ушёл так же беззвучно, как пришёл.

Эдриан долго разбирал разговор. Первое: Самир пришёл сам — страх перевесил. Второе: он знал номер ключа и дату описи — значит, видел материалы вскрытия, к которым допускали не всех. Третье, главное: ключ лежал на столе. Рядом с карточкой. Две вещи одного происхождения, положенные рядом. Так кладут не потерянное. Так кладут послание.

Администрация изъяла и то и другое и назвала это случайностью. Эдриан думал иначе: тот, кто оставил ключ, не рассчитывал на случайность. Он рассчитывал на того, кто умеет читать. Вельский умел. А если не успел прочесть — послание адресовано тому, кто придёт после.

Вечером он поднялся на четвёртый этаж — просто посмотреть. Дверь архива стояла запертой, царапина на косяке осталась на месте: светлая, тонкая, свежая. Замок был старой системы. «Заперто изнутри» относилось к кабинету Вельского, и Эдриан впервые спросил себя: как именно заперто изнутри? Задвижкой? Ключом? Кто это видел? Дверь вскрывали куратор и секретарь — и оба стали недоступны для вопросов.

Он спустился на второй этаж и остановился перед последней дверью с окнами во двор. Коридор был пуст. На двери висела бумажная пломба — гладкая, казённая, с номером и датой. Эдриан не собирался входить. Он смотрел на окно и считал вниз: два этажа, козырёк над запасным входом, под козырьком — скамья. Не тротуар. Спрыгнуть можно. Подняться обратно.

Он не тронул ничего. Он записал: «Окно во двор, второй этаж, под ним козырёк. Ни один вопрос официальной версии не касается окна. Официальная версия написана так, чтобы её нельзя было оспорить: сердце подтверждается справкой, справку выдаёт врач, врач получает документы от администрации. Круг замкнут на тех же людях, что изъяли ключ».

Мэйв он нашёл у служебного входа — она стояла с блокнотом и смотрела на часовню.

— Слух номер сорок, — сказала она вместо приветствия. — По ночам из спален исчезают старшие ученики. Не все — по двое, по трое. Возвращаются к трём. Куда — не знает никто. Слух номер сорок один: кто узнает — вылетает. Я собираю слухи восемь лет и впервые не знаю, стоит ли этот публиковать.

— Почему?

— Потому что он про меня тоже. Я тоже не знаю, куда они ходят. И впервые боюсь узнать. — Она посмотрела на него в упор. — Ты собираешься лезть?

— Я собираюсь узнавать.

— Здесь это одно и то же. — Она вырвала из блокнота страницу — ту, где были записаны оба слуха, — смяла и сунула в карман. — Слушай меня. Ты умный, ты всех распишешь по клеточкам. Но есть комнаты, где доказывают не правду. Там доказывают послушание. Если тебя позовут — а тебя позовут, ты уже пригодился, — подумай, что будешь делать, когда проиграешь. Выигрывают там не умные. Выигрывают те, кого назначили заранее.

Она ушла, держа смятую страницу в кулаке. Эдриан остался смотреть на часовню и думать о том, что Мэйв впервые заговорила с ним не как коллекционер слухов, а как человек, которому страшно.

Вернувшись в комнату, он открыл тетрадь.

36. Ключ №14. Утерян в девяносто восьмом, в журнале — «возвращён». Бумага лгала двадцать семь лет, и лгал не журнал — тот, кто его правил. Числа не врут сами: им врут.

37. Следов взлома нет. Значит, дверь открыли ключом — или её открыл сам Вельский. Ключ на столе — послание, не орудие. Послание адресовано умеющему читать. Вельский умел. Не успел — значит, тому, кто придёт после.

38. Два человека пользовались ключом: тот, кто был в архиве, и тот, кто положил его на стол. Или один. Если один — он был и там и там, и тогда архив искал не бумаги. Он искал ключ.

39. Самир пришёл сам. Он считает, что следующий ход будет по тем, кто задаёт вопросы. Он прав. Разница между нами в том, что он готов остановиться, а я — пока нет. Это не смелость. Это моя цена, и она дешевле его.

40. Окно во двор. Козырёк. Скамья. Официальная версия не оспаривается, потому что построена на справке, которую никто не проверял, и на двери, которую никто не видел открытой. Улики не в том, что есть, — в том, о чём не спросили.

Он закрыл тетрадь — и в этот час по коридору прошли шаги. Не швейцар: у него был другой вес и другая походка, Эдриан различал их по звуку, как различают голоса. Шагов было много — три пары, четыре, — и шли они бесшумно, привычно, рисуясь с тишиной, как рисуются люди, у которых этот маршрут отработан. Шаги прошли мимо его двери, спустились к чёрной лестнице — и стихли в сторону старого корпуса.

Эдриан не пошёл следом. Он подошёл к окну и увидел внизу, у часовни, — свет. Не электрический: жёлтый, качающийся, живой, как от свечей. Свет стоял ровно столько, сколько нужно для разговора, потом погас.

Он сел к столу и дописал последнюю строку:

41. По ночам отсюда уходят по трое, по четверо. Возвращаются к трём. Свет у часовни — свечи. В здании есть ритуал, которого нет в расписании. Чего нет в расписании, то старше расписания. Значит, обычай старше директора. Спрошу у журналов: журналы старше всех.

Он погасил лампу и подумал, что первая часть его жизни в Святой Агате кончилась. Две недели назад у него были школа, семинары и карточка-шутка. Теперь — мёртвый учитель, чужой ключ и список вопросов, на которые здесь отвечали молчанием. Вторая часть начиналась с шагов в коридоре. И он уже знал, что догонит их — куда бы они ни шли.

Часть вторая. Ночной диспут
Глава 11. Игра в доказательство

Шаги повторялись каждую ночь — и каждую ночь Эдриан не шёл за ними. За четыре ночи он выучил маршрут наизусть — вниз, к чёрной лестнице, через переход, к старому корпусу — и выучил то, чего не было ни в одном маршруте: шаги возвращались раньше, чем проходило два часа. Люди уходили на собрание и возвращались быстро. Значит, там не обсуждали. Там утверждали.

В пятницу он пришёл к швейцару.

— Куда уходят по ночам те, кто спускается к чёрной лестнице? — спросил Эдриан.

Швейцар грел руки о кружку. Услышав вопрос, он не поднял голову — он опустил её ниже, как опускают голос, когда вокруг могут быть стены.

— Тебя не звали, — сказал он.

— Значит, позовут.

— Позовут. — Он отставил кружку. — Диспуты. Слово ты всё равно услышишь, так что лучше от меня. Они старше меня, старше директора и старше правил, которые висят в коридорах. Правила висят для родителей. Диспуты — для тех, кто останется. Я открываю боковую дверь по четвергам. Это всё, что я скажу бесплатно.

Через два дня под дверью его комнаты лежала карточка. Плотная, серая, тяжёлая, как визитная, — не школьная бумага из канцелярии. Текст был отпечатан на машинке, ровно, без единой помарки:

«Вам предоставляется право присутствовать при диспуте. Четверг, двадцать три ноль-ноль. Боковая дверь часовни закрыта для неприглашённых — для вас она будет открыта с двадцать два сорок пять до двадцать два пятьдесят пять. Молчание обязательно. Опоздание отменяет приглашение».

Ни подписи, ни обращения. Только «вам» — и всё.

Эдриан перечитал карточку трижды. Приглашение знало о нём то, чего не знала администрация. И второе: пригласили его, а не Ремингтона из параллельного класса, чей отец владел половиной типографий города. Приглашали не самых заметных. Приглашали тех, кого уже начали считать.

В четверг он стоял у боковой двери часовни в двадцать два пятьдесят. Дверь была приоткрыта на ширину ладони. За ней начиналась каменная лестница вниз, и воздух тянул холодом и воском.

Внизу был зал, которого не было ни на одном плане лицея: сводчатый, низкий, с каменным полом, истёртым ступнями до гладкости. Два ряда стульев — человек двадцать пять, все старшие курсы, ни одного взрослого. В центре — длинный стол, два подсвечника, и свет был только от свечей: жёлтый, качающийся, делавший лица старше, чем они были. На стене, куда доставал свет, Эдриан разглядел вдавленные в камень счёты — столько вечеров здесь прошло, что камень начал помнить.

За столом сидели трое. Слева — девушка с четвёртого курса, которую Эдриан опознал сразу: Веста, та, кому звонил Беккер. Перед ней лежала тетрадь в переплёте и перо. В центре, спиной к свету, сидел человек, которого Эдриан не знал: высокий, в тёмном, с голосом, который Эдриан услышал раньше, чем увидел, — низкий, спокойный, без единой ноты усилия.

— Начали, — сказал человек в центре. И больше не вставал до конца.

Диспут открылся не речью — чтением. Веста поднялась и прочла формулу: «Диспут открыт. Дело восемьдесят девятого года, о стипендии Фонда Ремера. Стороны обязаны доказать заданные версии. Суд — присутствующие. Протокол — Веста».

Двое поднялись из первого ряда. Эдриан смотрел, как они спорят, — и первые десять минут не понимал, на что он смотрит. Оба были хороши. Оба двигались по правилам, которые он сам открыл на семинаре Вельского. Разница была в одном: оба спорили не за правду. Оба доказывали заданное — и знали, что доказывают заданное, потому что карточки с версиями лежали перед ними на столе, белые, узкие, как и та, что он нашёл в каталоге.

Эдриан понял это через полчаса, когда один из спорящих — худой, нервный, из третьего курса — начал выигрывать. Он разбирал показания без промаха, находил противоречия, и зал начал кивать. А потом человек в центре произнёс одну фразу:

— Время.

Худой остановился на полуслове. Свеча перед ним сгорела до половины. Вторая — у его противника — горела до сих пор. Эдриан посмотрел на свечи и понял устройство: время здесь мерили не минутами, а воском. Свеча сгорела — время вышло. И вышло оно не потому, что худой проигрывал. Он выигрывал.

Худой сел. Его противник произнёс заключение — отрепетированное, с тремя выводами и цитатой из устава. Потом человек в центре сказал: «Голосуют встающие». И встали все, кроме худого.

Тогда худой встал сам. Он стоял ровно, как солдат, посмотрел перед собой и сказал:

— Я ошибся.

Два слова. Не «я проиграл», не «вы правы». Он произнёс их ровно, без нажима, — и Эдриан понял, что худой говорил их не впервые. Возможно, все здесь говорили их каждый месяц, и разница была только в том, кто в какой раз вставал.

После диспута человек в центре объявил: «Право запроса — сторона защиты». Веста записала. «Право запроса» Эдриан понял сразу: победитель называл любой документ и получал его — из библиотеки, из архива, из закрытых полок.

Затем человек в центре произнёс:

— Гость. Встаньте.

Эдриан встал. Свет свечей ударил ему в глаза, и он увидел зал — двадцать пять лиц, все старше его на год, на два, на три, и все смотрели так, как смотрят не на человека, а на карточку, которую вынули из ящика.

— Вы видели, как проигрывают, — сказал человек в центре. — Скажите залу, что вы поняли.

Это был вопрос-ловушка, и Эдриан увидел её сразу. Ответ «победила справедливость» был подписью под их версией. Ответ «победил устав» — вызовом. Ответ «я не понял» — унизительным молчанием. Он выбрал четвёртый путь, которого не было в списке:

— Я понял, что здесь время измеряют воском, — сказал он. — Значит, здесь решают заранее, когда закончится диспут. И свечу ставят не тому, кто ошибётся, а тому, чья версия должна проиграть.

Тишина вышла длинной — в три вдоха. Потом человек в центре сказал — ровно, без оценки:

— Сядьте.

И больше ничего. Эдриан сел. Веста записала в тетрадь слово — короткое движение пера, — и диспут закрылся тем же чтением формулы, только в обратном порядке. Зал ушёл гуськом, и Эдриан вышел последним — посмотреть на стол. На столе остались две карточки — версий проигравшей стороны. Эдриан не тронул их. Он запомнил почерк: печатные буквы, широкие, с наклоном вправо. Такой почерк он уже видел — в записке в сапоге.

У выхода его догнала Веста — с тетрадью под мышкой, не снижая шага:

— Ты сегодня победил, — сказала она.

— Я ответил на вопрос.

— Вот именно. Здесь за ответы платят, а за победы — потом. — Она остановилась у лестницы. Проигравший — не беда. Беда — победить не там, где надо. Ты сегодня победил — и не знал, что это проигрыш. В следующий раз у тебя будет карточка. Версия. Ты будешь доказывать её, даже если знаешь, что она ложь. Это не спор. Это экзамен на то, умеешь ли ты говорить чужое как своё.

— А если откажусь?

— Тогда ты станешь темой. — Она сказала это без злобы, как сообщают расписание. — Диспут не спрашивает согласия дважды. Он делает один запрос. Второй уже не запрос.

Она ушла вверх по лестнице, и Эдриан остался один в холодном зале — с погасшими свечами и камнем, который помнил столько вечеров.

Он шёл в корпус и думал не о правилах и не о карточках. Он думал о главном — и понял его только на середине двора, под звёздами, которые здесь были крупные и близкие.

Диспут не был игрой. Диспут был машиной. Каждую версию, доказанную перед кругом и принятую залом, двадцать пять человек уносили в коридоры и разговоры — и через месяц она становилась тем, что здесь называли «все знают». Версия, победившая на диспуте, входила в память школы. А версия, проигравшая, превращалась в «ошибку» — со вслух произнесённым «я ошибся».

Так лицей переписывал прошлое — не пером и не бумагой. Голосом. Никому не нужно было подделывать документы, если можно было заставить двадцать пять человек вслух подтвердить нужную версию — а потом повторить её по всему зданию. Каталог в библиотеке, ключ в журнале, письменные описи — это была медленная работа. Быстрая работа была здесь, под часовней, при свечах.

И если девяносто восьмой год закончился диспутом, то та ночь тоже была переписана здесь. Вслух. Перед кругом. И то, что Элиас Ренн «не существовал», могло быть доказано именно так — как версия, принятая залом.

Дома он открыл тетрадь.

42. Диспуты существуют. Официально запрещены — значит, официально не существуют. Администрация знает и молчит. Молчание — это разрешение.

43. Протокол ведёт Веста. Протоколы хранятся где-то — спросить. Если в архиве, то архив закрыт не от истории. Он закрыт от нас.Председателя не зовут по имени — не потому, что имени нет: потому что имя здесь работает, а должность — нет. Я тоже его так зову. Вопрос об имени — вопрос, на который не готовы ответить.

44. Право запроса. Победитель называет документ и получает его. Кто решает, что выдавать? Если библиотека — Ансель. Если архив — Самир.

45. Председатель. Высокий, тёмное, голос без усилия. «Время» — его слово. Свечи ставит он.

46. Меня позвали. Задание будет — карточка. Кто-то решил, что я пригодился. «Пригодился» — слово Мэйв. Значит, я вошёл в ту игру, о которой она предупреждала: здесь доказывают не правду. Здесь доказывают послушание.

Он закрыл тетрадь. В окне погас последний свет в северном крыле — Эдриан не заметил, когда именно. Он больше не следил за светом. Теперь он знал, где гасят свечи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.